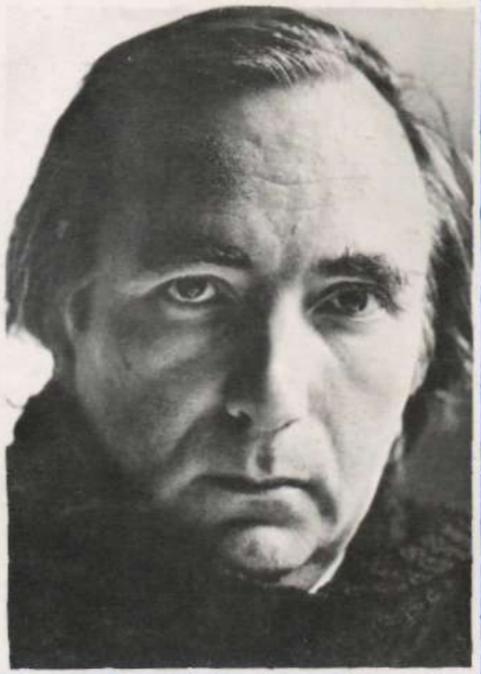


ВРЕМЯ ИДЕЙ 50 1980

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА



В НОМЕРЕ: В ЗАЩИТУ ГРАЖДАНСКИХ ОБЩЕСТВ ● "БЕРДИЧЕВ" ФРИДРИХА ГОРЕНШТЕЙНА ● "БЕЛЫЙ" И "ЧЕРНЫЙ" ИЗРАИЛЬ ● ПОВЕСТЬ О ГЕНЕТИКЕ



Галина Вишневская Трепет и муки актера

Лео Наврозов Посредственность и спасение Запада

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Шестой год издания

Выходит один раз в месяц

50
1980

ФЕВРАЛЬ

НЬЮ-ЙОРК-ТЕЛЬ-АВИВ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1980

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ВИКТОР НЕКРАСОВ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД

Американское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Эдуард Штейн.
**Адрес отделения: E. Sztejn, 594 Chestnut Ridge, Road
Orange, Conn. 06477.**

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд.
**Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES.
FRANCE.**

Представители журнала:

Англия Александр Штротмас
**Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.**

Западный Лотар Ролл
Берлин **Buschkrugalle* 98. 1000 Berlin 47. t. 606 77«1**

Канада Юрий Лурьи
**305 Robson Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3t 2N2
t. (2041 474 9773**

ФРГ Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

К выходу пятидесятого
номера журнала "Время и мы". 5

ПРОЗА

Аркадий ЛЬВОВ
Ночь в феврале. 8
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН
Бердичев. 41

ПОЭЗИЯ

Семен ЛИПКИН
Поездка в Ясную Поляну. 102
А. ВОЛОХОНСКИЙ
Критские вымыслы. 108

ПУБЛИЦИСТИКА, ПОЛИТИКА, СОЦИОЛОГИЯ

Лее НАВРОЗОВ
Посредственность и спасение Запада 112
Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ
Вслух о "черном" Израиле. 138

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Галина ВИШНЕВСКАЯ
Трепет и муки актера. 150

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Раиса БЕРГ
Повесть о генетике. 162

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Наталья ГРОСС
Скульптурные эскизы Жака Липшица 204

К ВЫХОДУ ПЯТИДЕСЯТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Итак, вниманию читателей предлагается пятидесятый, юбилейный номер журнала "Время и мы". Выход его является, безусловно, важным для всех нас событием, вызывающим не только чувство вполне понятного удовлетворения, но и обязывающим редакцию высказать свою точку зрения относительно того, что сделано и что еще сделать предстоит.

Мы знаем, что, несмотря на популярность нашего журнала, отнюдь не равнозначны вышедшие в свет его пятьдесят номеров. У нас были горькие срывы и обескураживающие неудачи. Предоставленная сама себе, лишенная экономической поддержки, редакция не раз расплачивалась за свое желание быть вне партий и идеологий. Увы, удел свободного и независимого издания оказался куда более тяжелым, чем это представлялось в ноябре 1975 года, когда вышел первый номер журнала.

Разумеется, не каждый, кто стоял у его истоков, оказался на уровне его достаточно высоких требований. Не все — и это также естественно — были едины в понимании его лите-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

ратурных и нравственных задач. Несогласные уходили, но журнал продолжал жить. Его свободная позиция не могла не иметь своего резонанса в России и за ее пределами — у всех, кому дороги традиции свободного русского слова. И если редакция нашла сегодня дорогу к читателям многих стран мира, то это прежде всего благодаря писателям России, их таланту, их бескорыстной литературной работе.

Естественен вопрос: за что редакция будет ратовать дальше? Что приемлет, а что не приемлет в окружающей жизни? Нам бы хотелось продолжить традиции русской демократической литературы и журналистики, восходящие к Пушкинскому "Современнику" и Некрасовским "Отечественным Запискам", традиции "Нового Мира" Твардовского, так жестоко попранные тоталитаризмом. В условиях современного Запада, отступающего перед лицом фанатизма, зла и насилия, эта задача наполняется особым смыслом, она показывает, сколь важное значение приобретает единство мировой культуры, основанной на идеалах свободы и не знающей национальных и географических границ.

Поэтому, если говорить о нравственной программе журнала, то мы не приемлем прежде всего нетерпимость и фанатизм, от которого так страдает современный мир и в плену которого так часто оказывается современный человек. Помня о взятой на себя миссии быть свободным изданием, мы и дальше будем предоставлять трибуну для высказывания любых точек зрения, независимо от национальной или идеологической принадлежности автора. Свобода — как терпимость, свобода — как широта, как уважение к личности и мнению другого. Мы всегда старались придерживаться этого главного нашего принципа. И даже в часы разногласий, когда уходившие — прямо скажем, не из светлых побуждений — бросали камень в редакцию, которую еще вчера считали своим прибежищем, — даже в эти трудные часы мы старались сохранить максимум выдержки, широты и терпимости. Есть журнал и есть все остальное — именно этот принцип, когда во главу угла ставится живое литературное дело, помог нам не уклониться от главного и прийти к своему пятидесятому номеру.

В ноябре 1975 года в предисловии к первому номеру редколлегии заявила о своем намерении "издавать журнал в расчете на читателя не безразличного, думающего, или по крайней мере стремящегося думать", для которого "литература — не просто род развлечения, но опора в страдании и мысли". И сегодня, когда вышел в свет пятидесятый номер журнала, мы более всего испытываем удовлетворение от того, что не ошиблись в нашем читателе.

Нам бы хотелось сохранить и еще выше поднять уровень нашего издания. При этом, когда мы говорим об уровне, то имеем в виду не только предлагаемую читателю прозу, поэзию, литературную критику и публицистику, но и в целом уровень разговора, который ведется на страницах журнала. Редакция и дальше будет развивать дискуссии, не зная запретных тем, полагая свободу слова самым неотъемлемым правом современного человека. Но даже самый острый обмен мнениями мы никогда не низведем до уровня эмигрантских перепалок и не допустим, чтобы там, где должно проявиться уму и культуре, возобладали экстремизм и нравственная инфантильность.

За нашей спиной — за спиной всей нашей эмиграции — тяжелая и долгая жизнь в тоталитарном мире. Мир этот — как это ни прискорбно сознавать — не оставляет нетронутыми, деформирует сами души людей. И эти тяжелые деформации прошлого подводят еще к одной грани нравственной программы журнала — в меру его скромных возможностей пытаться воздействовать на окружающую жизнь, воздействовать на самих себя.

Люди не рождаются святыми, как не рождаются экстремистами, фанатиками или мизантропами. От рождения все равны перед Богом и у всех равные в свободном мире возможности стать лучше, добрее, терпимее. На этой гуманной ниве литература всегда была в состоянии многое сделать, а стало быть, есть тут сфера деятельности и для журнала "Время и мы", возможно, из всех его сфер самая возвышенная и благородная.



Аркадий Львов

НОЧЬ В ФЕВРАЛЕ

Снег валил вторые сутки, валил безостановочно, с неизменной скоростью, валил с неба, которое придвинулось к земле вплотную, с той предельной близостью, которая составляет уже угрозу самой жизни, и город, как в замедленной киносъемке, неотвратно обращался в белое кладбище. Огни в его окнах были последние огни на Земле, которая вся уже обратилась в гигантское белое кладбище, и только здесь, в Нью-Йорке, еще сохранялись последние остатки жизни, но было ясно, что это уже ненадолго, еще ночь, еще день — и конец. В первые сутки еще пробивались сквозь снежные наметы, которые росли снизу, с земли, навстречу небу, снегоочистители. Гул их, поначалу грозный, с тяжкой от непомерного напряжения натугой, становился все глуше, скорость падала, была она уже мала, меньше человеческого шага на похоронах. Лица водителей цепенели за окнами, и было ясно, что нет уже надежды взять верх над природой, а борются люди просто по инерции, инерции жизни, которую заложила в них та самая природа, которая обращала сейчас их жилища,

их города, их Землю в одно сплошное белое кладбище.

Был десятый час вечера. Макс Розенбаум сидел у окна, наблюдал кружение снега, пил водку, сначала из стакана, потом — прямо из бутылки, из горла, как говорили там, в России, и радовался, тихо, спокойно, покорно. Еще немного — и решатся наконец все его проблемы, не только его, но и его пятилетней дочери Лины, которая спала сейчас в платье, в ботинках на диване его жены Мирры, которая осталась в Одессе, потому что ее мать, Нина Ивановна, не хотела дать своего согласия на выезд дочери и внучки. Она писала в обком, в ОВИР, в КГБ доносы на собственную дочь, что та спуталась с сионистами, а дома изводила своего мужа Мирона Марковича, полковника в отставке, за трусость, потому что Мирон Маркович был целиком солидарен с ней насчет сионистов, но согласие свое на выезд дочери все-таки дал. Однако согласия отца было недостаточно, и Мирра оформила через суд свой развод с Максом, отдала ему дочь, сказала, пусть едут, она будет добиваться здесь права на воссоединение с семьей, а муж — теперь уже бывший, отец ее дочери — пусть подымет там, в Нью-Йорке, через ООН, шум на весь мир, что по вине советского правительства, которое подписало Хельсинкское соглашение, четырехлетний ребенок разлучен со своей матерью. Нина Ивановна, когда узнала, как хитро провели ее, сказала своему мужу, что жид жидом и остается, дочь свою обозвала жидовкой и три дня кряду голосила на весь двор про жидовское кодро, которое загубило ее жизнь, и обещала вмешать в это дело самого Брежнева с Андроповым, чтобы знали, какие продажные твари сидят у них в Одеском обкоме и КГБ и как, вместо того, чтобы бороться с жидами и сионистами, идут у них на поводу.

Соседи-евреи удивлялись, как Мирон Маркович может жить со своей Ниной Ивановной, которая оказалась чибирячкой до мозга костей — тем более, он дал ей такую материальную жизнь, что другие могут только завидовать. Но Мирон Маркович не был согласен с соседями и, в свою очередь, предлагал им, каждому, поставить себя на место его Нины Ивановны, которая, хотя и русская, но была своей дочери

такая преданная мать, что эти же самые соседи говорили про нее: настоящая еврейская мама. И бабушка она была тоже преданная и любящая не меньше, чем мать, а теперь, на старости лет, у нее вдруг забрали внучку, неизвестно, увидит она ее еще когда-нибудь или не увидит, и еще хотят забрать дочь.

Соседи горько усмехались: это типично еврейская философия находить всем антисемитам оправдание, а про Нину Ивановну говорили, если она действительно такая преданная мать и бабушка, пусть едет со своими детьми. Тут Мирон Маркович, обычно спокойный и вежливый, не выдерживал и сам начинал кричать про сионистов, которые устроили международный заговор и разрушают наши семьи, а он здесь родился, поливал эту землю своей кровью, тыщу лет назад его деда и прадеды создали свое еврейское государство от Волги до теперешней Одессы, когда еще никакой России не было в помине, и прожили здесь не меньше, чем их деда и прадеды прожили в своей Палестине, в своем Израиле, пока их не выгнали оттуда. Соседи пожимали плечами, называли Мирона Марковича шая-патриот и а-ид а-буденновец, он в ответ называл их агентами сионизма, а дома, окончательно потеряв власть над собою, набрасывался на Нину Ивановну, честил ее последними словами — юдофобка, бандитка, гитлеровка! Она в ответ называла его маланец, француз, кончалось тем, что оба хватались за валидол, соседи вызывали "Скорую помощь", а вечером или на другое утро все повторялось сначала.

Единственный человек, с которым Мирон Маркович мог разговаривать в эти дни спокойно, был Макс. Он убеждал его не ехать, говорил, весь мир — это один сплошной бардак, в Америке тоже хватает своих антисемитов, не меньше, чем в России; он встречался на Эльбе с американскими офицерами-евреями, они сами рассказывали об этом, некоторые, постарше, говорили на идиш, а молодые почти все, как здесь, вставляли еврейские слова пятое через десятое — получался тот суржик, но, что правда, то правда, многие соблюдали кошер, и американское командование шло в этом им навстречу. Макс отвечал тестю, что насчет Америки он не заблужда-

ется, — по его глубокому убеждению, надо ехать в Израиль, хотя там жизнь тоже не мед, но Мирра желает только в Америку. "Когда он чуть заикается про Израиль, она затыкает уши, мотает головой и кричит: "Не хочу к этим пейсатым!" "Дура", — говорил про свою дочь Мирон Маркович, вспоминал свое детство, свою Балту, Гайсин, это как раз те места, которые описывает Шолом-Алейхем. На все праздники он ходил с папой в синагогу, на Хануку один раз дед подарил ему ножик, прямо как в рассказе у Шолом-Алейхема, но, Боже мой, когда это было — миллион лет назад! А потом Октябрьская революция, он пошел добровольцем в Красную Армию, отца и деда убили петлюровцы; тогда он был молодой, здоровый, был характер, он помахал за деда и отца своей шашкой, сколько мог, не жалея сил. Войну с Гитлером кончил полковником, хотя его товарищи — русские, украинцы, армяне — все получили генералов. Его тоже представляли, сам Крейзер, но не дали, как самому Крейзеру не дали маршала, хотя он заслужил не меньше, чем всякие там Москаленко и Баграмяны.

— Макс, — вдруг прерывал сам себя Мирон Маркович, — я дал свое согласие, но послушай меня: не надо ехать! Никто вас там не ждет. Тебе за сорок, куда ты поедешь один, с ребенком на руках! Это же чистое умопомешательство: вдруг все сорвались с места и едут! Про себя я не говорю: выкинут из партии — черт с ними, пусть выкидывают, сколько мне осталось. Но за вас у меня болит душа, так болит, что слов нет.

Набегали слезы, Мирон Маркович отворачивался, чтобы зять не видел — не хватало только этого: слезами упрашивать собственного зятя! Макс отвечал сухо: все точки над *i* поставлены, решено — и баста. Но тут же, вопреки своим словам, которые звучали как последние слова, принимался объяснять, что он уже пять лет как защитил кандидатскую по филологии, сначала искал работу только в Одессе, потом готов был ехать, куда угодно — в Мордовию, Коми, Кара-Калпакию, — но Макс Абрамович Розенбаум, пушкинист, никому не нужен. Еще год-два он закончит докторскую,

и все равно никому не будет нужен, микроинфаркт у него уже был, остается ждать крупного, на всю заднюю стенку инфаркта, и тогда будет полный порядок — какой-нибудь жидомор из аппарата ЦК, куда он написал сорок бочек жалоб, поднимет его череп и горестно воскликнет: "Бедный Максик!"

"Да, — кивал головой Мирон Маркович, — как я могу сказать "нет", если жизнь говорит "да". Потом, в тысячный раз, начинались разговоры про то, что не надо идеализировать, не надо строить иллюзии, Макс отвечал, он не идеализирует, не строит иллюзий, он едет не потому, что там хорошо, а потому, что здесь плохо, и хуже, чем здесь, не будет. Мирон Маркович смотрел своими голубыми, из-под толстых, как лупа, стеклом глазами, непомерно большими, непомерно голубыми и настойчиво спрашивал: "Ты уверен? Ты в самом деле уверен?"

Да, говорил Макс, уверен, он хорошо знает, как он чувствует себя здесь, и уверен: там хуже не будет. И врать он тоже не будет: Мирра остается здесь, ему дороги назад нет, а ребенку разрешат. В Кремле сидят гуманисты, не бандиты из Белого Дома: разрешат. Мирон Маркович хватался за сердце, твердил по десяти раз кряду "Боже мой! Боже мой!" — и кончал всегда одной фразой, про Израиль: "И откуда он взялся на нашу голову, этот Израиль!"

На вокзале как на вокзале: были слезы, был смех, опять слезы, все, как у других, которые ехали целыми семьями. Мирра держалась молодцом, ни одного лишнего слова — раз только не выдержала, когда обнимала Макса: "Не дай Бог случится с тобой что-нибудь в дороге!" Мирон Маркович пришел в мундире, с полковничьими своими погонами, при всех орденах и медалях, ни слева, ни справа не было на груди свободного места. Люди, и те, что уезжали, и те, что провожали, смотрели с недоумением — у Макса было неприятное чувство, кому нужен этот маскарад! Мирра говорила, она убеждала отца: не надо, это лишнее, но старик заупрямился: нет, пусть все видят, кто мы и что они с нами сделали!

"Да, — сказал Макс, — шуты рядятся героями, а герои — шутами".

Прощались нормально — обнялись, поцеловались — только Лина вдруг обхватила деда за колени, прижалась головой. Мирре пришлось вмешаться, Мирон Маркович стоял неподвижный. Мирра сказала с досадой: "Папа, да помоги же, стоишь как истукан, люди со стороны стали обращать внимание". Мирра рванула дочь с силой, подняла на руки, поцеловала и передала Максиму. У Макса мелькнула мысль — дочь русской мамы! Еврейка так бы не смогла, но тут же вспомнилась Нина Ивановна, которая готова была взорвать всю Одессу, только бы удержать дочь и внучку. Макс взял Мирру за руку, крепко прижал к губам. "Отпусти, — сказала Мирра, глаза были зажмурены, как от нестерпимой боли, — я знаю все твои мысли, отпусти же!"

За год Мирра прислала шестьдесят три письма, все заказные, все под номерами. Письма приходили по-разному: иногда нормально, по одному, иногда надо было ждать по месяцу-полтора, и тогда приходила целая пачка, сразу пять-шесть писем. Разрешения на выезд или, как писала Мирра, на воссоединение с семьей ей не давали. Начальник ОВИРа прямо говорил: "Не даем и не дадим! — И добавлял, — во-первых, вы сами отказались от дочери, а, во-вторых, ваш бывший муж и ваша дочь, которые выезжали по израильской визе, в Израиле, по нашим сведениям, не проживают. "Да, — подтверждала Мирра, — они не в Израиле, они в США, в Нью-Йорке, и я хочу жить со своей дочерью в США". Глядя Мирре в глаза, начальник ОВИРа — потом те же самые слова повторяли в управлении МВД и облисполкоме — говорил: "Евреи могут воссоединяться только на своей исторической родине, в Израиле, а в США евреям не с кем воссоединяться, а вам лично, хотя вы Розенбаум, а по отцу Хайкина, и в Израиле не с кем воссоединяться, потому что по ихним законам и вы, и ваша дочь — неевреи".

Полгода назад, еще в августе, Мирра звонила по телефону и возмущалась, почему Макс не действует через ООН, а про себя сказала, что теперь остается только одно: ехать в Москву и выйти с плакатом на Красную площадь. Разговор тут же прервали, и, после этого, сколько Макс ни пытался, разговора

с Одессой не давали. Московские телефонистки объясняли, что абонент не берет трубку. Макс приходил в ярость, кричал московским телефонисткам, что они лгут, и требовал от американских операторов, чтобы настояли на своем, а те отвечали, вот вам русские операторы и настаивайте, а у нас не получается. С Римом получается, с Парижем, с Веной, с Бухарестом получается, а с Москвой не получается.

Насчет ООН Мирра заблуждалась, как заблуждался, когда был еще там, в России, и сам Макс. Сначала вообще не отвечали, потом ответили, что дело господина и госпожи Розенбаум, которые не являются супругами, вне компетенции ООН. Потом, когда Макс написал письмо, в котором обозвал ООН пособником Кремля, ему пообещали навести справки в Москве и оказать в пределах компетенции ООН содействие, а в конце добавили: если таковое будет возможно.

В первый месяц по приезде в Нью-Йорк Макс дважды ходил на заседания ООН, восхищался тамошней полицией, восхищался тишиной и порядком, восхищался процедурой допуска, донельзя простой: крупные вещи и сумки оставляли в специальной камере хранения, вне главного здания, но в карманах можно было пронести, что угодно, даже бомбу, и этот демократизм Макс считал уже избыточным, опасным, в конце концов, пусть не террорист, не диверсант, пусть просто какой-нибудь псих, которому ударила моча в голову, вздумает устроить взрыв — и устроит.

Теперь Максу все внушало отвращение: и само здание ООН, и площадка перед зданием, и дорожки, посыпанные галькой, и белки, которые берут пищу прямо с руки, и голуби, сытые, раскормленные, ленивые, и гарды, вежливые до тошноты, и даже Ист Ривер, которая не имеет никакого отношения к ООН, а просто катит свои грязные серые воды, как и год, и тыщу, и десять тысяч лет назад, когда не было еще ни здешней демократии со всем ее лицемерием, ни пестрых этих флагов, которые — одна сплошная мишура, ни белых, ни черных, со всеми их комплексами и расовыми бзиками, и может быть, не было еще и самих аборигенов, краснокожих, которых, говорят, всех истребили белолицые конкистадоры, а кого не успели истребить, загнали в резервации, за-

поведники для людей с такими же, как писали советские корреспонденты из Америки в свои московские газеты, нравами и законами, как в заповедниках для зверей, только еще более бесчеловечными, более жестокими.

Пустая игра воображения, но Максу теперь самому иногда приходила в голову мысль, что неплохо, если бы в самом деле нашелся какой-нибудь псих, пробрался туда со своей бомбой и снес бы к чертовой матери всю эту поганую декорацию.

Друзья посоветовали Максу написать про свою судьбу в здешнюю русскую газету. Пользы, они сами понимали, от этого большой не будет, но лучше хоть что-нибудь делать, чем ничего не делать. Макс поначалу упирался, но в конце концов, сдался и написал: "Уважаемый господин редактор, прошу опубликовать в Вашей газете нижеследующее..." Точно, нарочито сухим языком, без обрыдлого эмигрантского надрыва, он изложил все события, написал про ООН, тоже сухо, оценки никакой не давал и закончил просто сообщением о том, что вот уже более года мать разлучена со своей малолетней дочерью.

Вопреки ожиданиям, письмо не напечатали. Ответ прислали теплый, обстоятельный: господин Розенбаум может не сомневаться, что все симпатии редакции на его стороне, но случай его не единичный, кроме того, есть сотни и тысячи отказов в случаях еще более бесспорных, чем его, газета пишет об этом из номера в номер, выступать же по каждому подобному случаю особо нет практической возможности.

Друзья, те самые, которые советовали Максу обратиться в газету, теперь вдруг переменили свое мнение и стали доказывать, что это, наверное, даже лучше, что не напечатали, в конце концов, такое открытое письмо могло бы навредить Мирре: никогда нельзя предвидеть наперед реакцию этих совдеповских кретин! Но у Макса возникло неприятное ощущение — то ли тупика, то ли общего какого-то заговора против него; хотелось драться, хотелось бить, крушить налево, направо, без разбору, как разъяренные великаны в сказках, как ослепленный циклоп в "Одиссее", как доведен-

ный до иступления бык на корриде. Картины вставали перед глазами самые неожиданные, были мгновения, когда Макс в самом деле чувствовал себя не человеком, а животным, не просто животным, а зверем, которому не нужна никакая философия, никакие оправдания, чтобы убивать, а достаточно одного этого желания: убивать.

В Нью-Йоркском университете, где Макс вел спецкурс "Пушкин как антитеза поэт-человек", коллеги говорили ему в эти дни, что надо оборудовать русскую кафедру счетчиками Гейгера, иначе профессор Розенбаум поразит всех лучевой болезнью. Шутка есть шутка, но шутки тоже бывают разные. В данном случае дело было, однако, не в самой шутке, а в том, что шутили американцы, которые нарушали собственное табу: частная жизнь — это частная жизнь. Про лучевую болезнь и счетчик Гейгера говорили все, не говорила только одна Джилл. Джилл Кесслер, по американской терминологии ассистент-профессор, по советской — просто преподаватель.

Макс сделал глоток, оглянулся на дочь, надо бы раздеть ребенка, уложить в постель, но не встал. В ногах, в руках, в животе, где солнечное сплетение — в последние два-три месяца он чувствовал здесь постоянно стеснение, неудобство, тревогу, приступы внезапного, безотчетного страха, — была приятная оцепенелость, не хотелось двигаться. Макс закрыл глаза, перед глазами встала Одесса: вся в снегу, послышался звон бубенцов, из-за поворота, на Александровском проспекте, вылетели сани с крытыми лаком бортами, с зелеными, красными, синими, как на крестьянском платке, цветами. На козлах сидели двое, мальчик и женщина. Мальчик прижимался к женщине, она держала в руках вожжи, рыжие волосы, припорошенные снегом, развевались на ветру, у мальчика было сладостное чувство безопасности, женщина смотрела на него своими зелеными глазами с тем прищуром, который бывает у близоруких; от этого прищура делалось ему неловко, неловко и приятно в одно и то же время. Чувство безопасности не проходило, но прибавилась к нему какая-то тревога, тоже сладостная, мальчик и женщина, оба были знакомы Максусу, он всматривался в лица, пытался вспомнить, кто они,

но не мог, женщина забрала вожжи в левую руку, правой обняла мальчика. Макс почувствовал ее руку у себя на плече, невольно сжался, и тут только дошла до него вся нелепость ситуации: Джилл обнимает его, Джилл, которой двадцать пять лет, которая родилась в Манхэттене, которая нигде, кроме своей Америки не бывала, обнимает его, мальчика, в Одессе, когда были еще несчитанные впереди до ее рождения годы, обнимает его теперешняя!

Макс беспокойно задвигался, сделал три глотка кряду, обожгло горло, поперхнулся, закашлялся, пресеклось дыхание — ни вдохнуть, ни выдохнуть — шея, казалось, неимоверно разбухла, на мгновение охватил страх, но спазм тут же прошел, вернулось дыхание, осталось лишь тягостное от пустых грез, от нелепого смешения во времени чувство.

Кружил снег, кружил безостановочно. Отсюда, с Оушен-парквей, из окна на тринадцатом этаже, в прежние вечера он видел океан — безоглядная черная даль, на которой в двух-трех местах мерцали одинокие огоньки, неизвестно кем зажженные, неизвестно кем брошенные, может быть, последняя искра жизни, последняя мольба о помощи из пространства, где чернота уже властвовала безраздельно, и не было никакого сомнения: огоньки доживали последние свои мгновения, так что помощь с земли, если бы даже кто-то отважился на безумный этот шаг, пришла бы слишком поздно и могла бы привести лишь к одному — гибели безумцев, которые, подчиняясь своему инстинкту идти на помощь себе подобным, на самом деле приговорены были лишь разделить участь обреченных.

Черный вечер, белый снег — на ногах не стоит человек. Вайс. Вайскопф. Белоголовый. Пушкин боялся белоголового. Вайскопф, белоголовый — Пушкин знал смолоду, когда впервые наворожила ему петербургская гадалка, — принесет ему смерть. Жорж Дантес, убийца Пушкина, был вайскопф. Белоголовый. Красавец Дантес, приемный сын педераста барона Геккерена.

Дуэль была делом решенным. Пушкин звал к себе в секунданты секретаря британского посольства Мегенеса, долго-

носого англичанина, которого звали *Perroquet malade*, больной попугай. Мегенес был честный человек. Пушкин уважал его. Англичанин пожелал узнать причины дуэли, Пушкин отказался сообщить, тот отстранился. Пришлось искать другого. Нашел: подполковника Данзаса, лицейского друга.

Пушкин ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни, потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно. Вошли в кабинет, запер дверь, через несколько минут послал за пистолетами. Спокойно дожидался у себя развязки. Занимался своим "Современником" и за час перед тем, как ему ехать стреляться, написал письмо к госпоже Ишимовой, сочинительнице "Русской истории для детей": "Крайне сожалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на Ваше приглашение. Покамест, честь имею препроводить к Вам *Barry Cornwall*. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом, переведите их..."

Пьесы *Barry Cornwall* — последняя книга, которую Пушкин держал в руках перед дуэлью. Перед смертью. Профессор Эндрю Бэдфорд говорит: "*Cornwall* — посредственный писатель". Книга посредственности в руках гения в последние часы его жизни — это забава Провидения. Провидение любит забавляться.

Эндрю Бэдфорд — схоласт. Джилл права: у Пушкина было много последних часов в жизни. Пушкин, двадцати пяти лет, писал Казначееву, правителю канцелярии графа Воронцова в Одессе: "У меня аневризм. Вот уже восемь лет, как я ношу с собою смерть. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится". Жалоба была по пустяшному поводу: новороссийский генерал-губернатор граф Воронцов послал коллежского секретаря Пушкина, чиновника 10 класса, в Херсонскую губернию на борьбу с саранчой. Поэт Пушкин оскорбился, сослался на роковую свою болезнь: аневризм, могу представить свидетельство которого угодно доктору.

Аневризм, какой к черту у него аневризм, когда и позже — был ему уже четвертый десяток — запросто хаживал по тридцати верст одним махом из Петербурга в Царское Село!

А между тем, Воронцов — истый британец, даром, что русский по рождению, до двадцати лет провел свою жизнь с отцом, екатерининским послом в Лондоне, — отрядил на саранчу высоких военных и гражданских чиновников, от полковника до губернского секретаря. А позже, когда в Нижегородской губернии гуляла холера — и всякий тамошний дворянин по велению царя обязан был в ратники идти противу холеры, — Пушкин мимо, не оборотясь даже, пронесся, пролетел: не аневризм, поважнее в этот раз причина была — женитьба, спешил жених к невесте своей! Невеста была красавица Наталья Гончарова, восемнадцати лет. Княгине Вяземской жених писал про невесту свою: сто тринадцатая любовь моя. Все ерничал, а когда вышла заминка с женитьбой, грозился, что бросит все и уедет драться с поляками. Там у них есть один Вайскопф, он, наверное, убьет меня, и пророчество гадалщицы сбудется. О поляках, которые за землю свою клали жизни, не думал: о себе только забота была. Не поехал, однако, только того и было, что угрозы. О невесте, любил не любил, а говорил не много, вспоминал, как госпожа Валлуа наставляла своего сына: о себе говори только с царем, а о своей жене ни с кем, потому что всегда рискуешь говорить о ней с кем-нибудь, кто знает ее лучше, чем ты.

Джилл права: Пушкин всю жизнь жил в страхе. Бенкендорфу, шефу жандармов, даже писал об этом: "Я каждую минуту вижу себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избегнуть". В страхе ничем не гнушался, даже лестью холопской. "Если завтра, писал тому же Бенкендорфу, вы больше не будете министром, то послезавтра я буду в тюрьме".

Джилл говорит: во всей русской пушкиниане нет ни одной работы, где бы Пушкин-поэт не заслонил Пушкина-человека. "Вы, русские, не можете не ползать на коленях, откуда бы начальство ни было — от правительства ли, от поэзии ли".

Макс возмущался: "Да что вы в России понимаете! Вы сами ведь и рабы: шумите против правительства, потому что наказания никакого быть не может, шуметь — это ваше пра-

во по конституции, а на улице первому же урке с потрохами отдаётся: хватай, насилуй, только жизни не отбирай!"

Когда стрелялся Пушкин, погода была ясная, а накануне намело снегу по колена. Надо было вытоптать площадку, чтобы Пушкин с Дантесом могли стоять друг против друга и сходиться. Оба секунданта с Дантесом занялись этой работой; Пушкин сел на сугроб и смотрел на роковое приготовление с большим равнодушием. Дуэль была верная: хотел убить обольстителя жены своей, верил, что убьет, но чего больше хотел — убить или быть убитым? Шесть лет, без трех недель назад, при венчании, задев начаянно за аналой, уронил крест, при обмене колец одно из них упало на пол, потом потухла у него свечка. Пушкин весь побледнел от этого, в ужасе прошептал: "Tous les mauvais aquires. Знамений столько — куда дальше!" Но убить Дантеса-Геккерена хотел, уже смертельно, в живот, раненный, нашел в себе силы прицелиться, выстрелить. Выстрелив, потерял сознание. Придя в себя, первым делом спросил: "Убил я его?" Пушкин хотел умереть. И убить хотел, и умереть хотел: жить больше не было сил. Сто двадцать тысяч одного долгу. В карты играл, надеялся выиграть, да все не в масть: проигрывался! Как тут рассчитаться, откуда деньги взять? Долги могли только расти и росли из года в год. Убийство было полное удовлетворение, смерть была полное избавление. Как говорят биллиардисты: двойной дуплет. Однако когда смерть подступила, уже и мести не хотел. Данзасу, который вызвался быть мстителем, сказал: "Нет, нет, мир, мир!" Из последних были слова: "Хорошо! Жизнь кончена!"

Джилл была первая, кого увидел Макс в университете, на славянской кафедре. На кафедре — это был уже, собственно, второй раз: первый раз увидел в сквере, на площади Вашингтона. Она сидела на скамье, позади памятника Гарибальди, книга, раскрытая, лежала на коленях: Бахтин "Проблемы поэтики Достоевского". Хотел заговорить, но не решился. Была она рыжая, с зелеными глазами, длинные ноги в джинсах — джинсы не американские, французские, с белой,

как бисером строчкой — выброшены далеко вперед, каблуками упираются в асфальт.

Что книга была Бахтина, о Достоевском, Макс определил сразу, по странице, на которой была раскрыта: "... Совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце".

Для них Россия вся еще в Достоевском — Толстом, и все их знания про русских, про загадочную русскую душу и даже про русскую географию — Россия вся, от края до края, одна Сибирь! — тоже от этих двух, да и то не из прямого описания, сколько там у Достоевского и Толстого той Сибири, а из привычных, еще предками привезенных из Европы, экстраполяции.

Макс хотел сказать все это ей, рыжей, с зелеными глазами, с длинными, чуть не до середины дорожки, как будто у себя дома расселась, ногами /в России так одни потаскухи в скверах сидят/, — ждал лишь подходящего момента, пусть бы взглянула на него, сделала бы какое-нибудь движение, человек ведь рядом сел — ну, как не заметить — хоть бы ноги подобрала, но не заметила, не подобрала, как сидела, так продолжала сидеть, ничего для нее не переменилось. Это что: этикет какой у них, американцев, выработался, или в самом деле ей наплевать?

Месяца через три Макс уже читал свой курс о Пушкине, спросил: "Помнишь, тогда в сквере"... Джилл засмеялась: "Заметила Иван-царевича или не заметила? Заметила, еще как заметила", и мысленно заклинала: да обратись же, заговори, и повод такой — американка читает про Достоевского! — а ты сидел, молчал, как колода". Макс поправил — как пень. И спросил: американки все так? Джилл погрозила пальцем: "Не жадничай". И добавила: "У, супняра!"

Джилл готовила реферат к конференции славистов: "Хандра, или сплин в произведениях Пушкина". Макс поморщился: "Что за тема?" Джилл тряхнула рыжей своей головой: "Ты прав, тема может быть только одна: "Вольнолюбивые моти-

вы в творчестве Пушкина". Макс развел руками: почему одна? Есть еще одна: "Тема женской ножки в поэзии Пушкина". "Извольте потешаться, сударь, сказала Джилл, а тема, считайте, продана: я покупаю".

Профессор Бэдфорд, заведующий кафедрой, смеялся: из русских отбросов мы стряпаем монографии. И вспоминал русскую сказку про вершки и корешки, где медведю досталась ботва, а клубни картофеля — лисе. "Это очень умная сказка, — объяснял Бэдфорд Макс, — можно только удивляться, что народ, который придумал ее, все-таки поступает часто, как этот глупый Мишка, и получает ботву, а клубни достаются другим".

"Эндрю — хороший парень, но большой шмок", — сказала Джилл. Макс удивился: "Ты знаешь это слово?" Джилл пожал плечами: она знает много слов, не только это. Например... "Не надо примеров, остановил Макс, не люблю, когда женщины сквернословят". "О'кей, — сказала Джилл, — не буду". И тут же повторила по-русски: "Эндрю — большой...!" "А что, — опять пожал плечами Джилл, — я и ему говорила, что он большой..." Макс опешил: "Ему в лицо?" "Да, в лицо, — Джилл задумалась, — как это еще у вас говорят: прямо в глаза? Да, прямо в глаза: "Эндрю — импотент, импотенты любят, когда женщины немного щекочут их". "Не щекочут, не щекочут, — вдруг вышел из себя Макс, — щекочут! Щекочут!"

На следующий день Джилл сказала: "Ты обиделся вчера. Я знаю, твоя жена не говорит тебе такие слова. Но мне можно: я не твоя жена. Ты хотел бы придти ко мне в гости? Приходи на Хануку. С дочкой".

У дома, на Манхэттен-Бич, горело пять огней. Дверь открыла Джилл. Макс спросил: "Что за огни?" "Не знаю, — сказала Джилл, — так надо, Фред объяснит". "Макс Розенбаум, — представила Джилл. — Альфред Кесслер, мой муж".

Фред объяснил: "Пять огней по числу лиц в доме. Так делали наши предки. Теперь этот обряд забыли. Нас пятеро: знакомьтесь, мой племянник Джоэл, с этого года — школьник". Джоэл протянул руку Лине, Фред остановил его: "По-

дожди, женщина подает руку первая". Лина повернулась спиной, прижалась лицом к отцу. Макс сказал: "Перестань!" Взял ее за плечи, она прижалась еще сильнее. Джилл махнула рукой: не надо, сами разберутся.

Стало темнеть, Фред дал по кипе гостю и племяннику, сам надел, зажег свечи и прочитал молитву: "Да будет благословен Господь Бог наш, Царь вселенной, который освятил нас заповедями и приказал нам зажечь светильник Хануки". После каждого слова Фред делал паузу, Джилл, Макс и Джоэл повторяли слова, Лина положила руки на колени и крепко стиснула губы.

Фред прочитал еще одну молитву: "Да будет благословен..., который совершил чудеса отцам нашим в дни былые в это время, — и сказал, — а теперь приступим к трепезе".

Ели картофельные оладьи — латкес, ели яблочный струдель, пили израильское вино "Кармел", дети — сладкую воду, в воду добавили по капле вина.

Джилл велела детям встать, дала каждому по волчку "трейдл-дрейдл" — пусть идут играть, — и сказала: "Предки и потомки получили свое, а теперь подумаем о себе". Фред сделал движение рукой, было впечатление, что хочет остановиться, Джилл видела — не могла не видеть, — однако поднялась и через минуту прикатила тележку.

На тележке были "Дабл Тварски", сто шестьдесят градусов по американской шкале, "Джонни Волкер", тоник, содовая, семга, икра, масло, две тарани и лоток с черным хлебом. Джилл налила всем по стопке, подняла — поехали! — и первая опрокинула. Крякнув, взялась разделявать тарань, Макс сказал, в России тарань под пиво — первый деликатес. Фред спросил: "Хотите пива?" Джилл скривилась, в Америке пивом набираются только ирландцы, и налила по второй. Фред отодвинул стопку и обратился к гостю: "Хотите посмотреть наш дом?" Джилл сказала: "Начнем с туалета, у нас их два: на первом этаже и на втором, на первом, естественно, ближе". "О'кей, — кивнул Фред, — начнем с ванной".

Стены были бледнорозовые, пластик под мрамор, на стенах литографии Венеции, Монте-Карло и Афин, развалины

Парфенона, бассейн, мраморный, утоплен, края на уровне пола, для спуска несколько ступенек, розовый гранит со шербоатой поверхностью, чтобы нога не скользила по мокрому. В задней стенке, у окна, множество, как в машинном отделении, кранов. Хозяин объяснил: "Гидропатия — лучшее лекарство для нервов". "А все болезни, кроме триппера, — сказала хозяйка, — от нервов!" "Прекрасная ванная", — сказал Макс.

Фред повел рукой к окну: "Во дворе у нас плавательный бассейн. Пока без подогрева". "Ничего, — кивнула Джилл, — будет с подогревом". Макс удивился: зачем бассейн, рядом пляж, Брайтон-Бич. "Брайтон-Бич, — сказал Фред, — не пляж, Брайтон-Бич — мусорная свалка". "Да, — подтвердила Джилл, — мусорная свалка: я хожу на Брайтон-Бич одна, Фред не ходит". "О'кей, — сказал Фред, — здесь у нас еще кухня, столовая: поднимемся на второй этаж?"

Прибежала Лина, велела отцу наклониться и шепнула на ухо: "Хочу по большому". Макс нахмурился, Джилл взяла Лину за руку, приказала мужчинам выйти и захотела закрыть дверь, но Лина заупрямилась: "Хочу только с папой". "Ты уже большая, — сказал Макс, — оставайся сама". Лина заплакала: "Не хочу сама, хочу с тобой". Хозяева вышли, Макс повторил: "Ты уже большая, оставайся сама", — вышел вслед и захлопнул дверь. Лина тихонько завывала, Макс обратился к хозяйкам: "Ну что, поднимемся?"

На втором этаже были две спальни и библиотеки: вдоль стен на кронштейнах полки, на полках, где было свободное от книг место, палехские шкатулки с тройками, с жар-птицей, с русскими богатырями Ильей Муромцем, Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем, вологодские ложки и две репродукции — Крамского "Христос в пустыне" и Репина "Иван Грозный убивает своего сына". На столе, у окна, пишущая машинка ИБМ, с круглой головкой. Фред ткнул пальцем в машинку: тысяча долларов. Одной рукой обнял Джилл, другой повел вокруг и объяснил: "Здесь ее царство, мне вход запрещен".

Спустились вниз, Макс подошел к ванной и окликнул:

"Лина!" Послышался вой, Макс открыл дверь. Лина стояла лицом к стене, Макс спросил: "Ты уже?" Лина покачала головой: "Не хочу здесь, хочу дома, идем домой". Макс закрыл дверь, взял дочь, подвел к унитазу и сказал, пусть снимет трусы и сядет, он подождет.

Когда вышли, Джилл сказала Макс: "Тебе нелегко!"

Вернулись в гостиную, Джилл опять налила, Фред улыбнулся: "Моя жена хочет устроить пожар. Сто шестьдесят — это у русских сколько?" Макс не успел ответить, ответила Джилл: "Сто шестьдесят — это у русских восемьдесят". "О, — развел руками Фред, — не так страшно: восемьдесят — это в два раза меньше, чем сто шестьдесят. Магия чисел. Джилл, ты говорила мне, что русские боятся числа тринадцать. Скажите, Макс, это правда? Вы, например, боитесь?" Макс сказал, — нет, не боится: они с дочкой живут на тринадцатом этаже. "О, — воскликнул Фред, — значит, вы действительно не боитесь".

Джилл спросила у Макса по-русски: "Тебе скучно? Очень скучно?" Макс не ответил, обратился к Фреду: "Вы понимаете по-русски?" "Я, — Фред пожал плечами, — нет, я не понимаю: мои предки из Баварии. Бавария — это Германия. А в Германии, — засмеялся Фред, — русский язык не в почете, там больше говорят по-немецки". "Да, — подтвердил Макс, — по-немецки" и вдруг спросил: "Sprechen Sie Deutsch?" "О, — улыбнулся Фред, — вы говорите по-немецки? Я — нет, не говорю: мы приехали в Америку очень давно, еще мой прадед". "Я понимаю, — сказал Макс, — ваш прадед говорил, а вы не говорите. Если бы ваш прадед приехал из России, вы бы так же могли забыть русский, как забыли немецкий". Фред наморщился: "Простите, не понял".

"Послушайте, — сказала Джилл, — давайте выйдем, погуляем. Пойдем к морю" Вышли вчетвером, с детьми. Фред остался дома. Макс спросил: "Почему Фред не с нами?" Потому что ему не хочется, — сказала Джилл и добавила, — и тебе не хотелось быть с ним". "Да, — подтвердил Макс, — не хотелось".

С минуту шли молча. Макс сказал: "Ты навязала ему наш визит". "Навязала, — кивнула Джилл, — он тоже навязывает мне своих друзей. Они все — дантисты. Дантисты — это в Америке не только профессия, это психология. Дантисты делают деньги. Кто не делает деньги, тот не человек". Макс спросил: "Ты думаешь, он презирает меня?" Джилл смотрела прямо перед собою, подбородок чуть кверху: "Ты — его, он — тебя". Макс остановился: "Зачем ты пригласила меня?" "Ты знаешь зачем, — сказала Джилл, — тебе было нехорошо, твоей дочке нехорошо, я хотела, чтобы вам было хорошо. Не получилось, я виновата". "Но ты же знала наперед, что не получится", — повысил голос Макс. "Знала, — кивнула Джилл, — и понимала, и предвидела, и все-таки сделала — стреляйте меня: дураков, которые надеются, когда нельзя надеяться, надо стрелять".

Прошли квартал, свернули налево, внезапно открылся пляж. "О, — воскликнул Макс, — отличный пляж, зачем ходить на Брайтон-Бич!" "Я не хожу, — сказала Джилл, — Фред прав: Брайтон-Бич — это мусорная свалка". Макс усмехнулся: "Ты сказала, что ходишь, одна, я поверил. Он тоже поверил?" "Нет, — сказала Джилл, — он не поверил: он знает, что я не хожу на Брайтон-Бич".

Подошли к берегу, справа были гранитные скалы, черные, с острыми, как в горных обвалах, резцами, торчком во все стороны.

Макс сказал: "Ты обманула меня, ты дразнила его. Зачем?" "Слушай, — взвинулась вдруг Джилл. — пошли бы все к такой матери!" "Перестань сквернословить, — сказал Макс, — это омерзительно". "А лезть к человеку в душу, — еще больше взвинулась Джилл, — это не омерзительно! А учинять разнос, когда не твое собачье дело, это не омерзительно! Я знаю, в России это у вас норма, а здесь — не норма, и заруби у себя в носу". Макс хотел поправить — "на носу" — но не поправил, было ощущение гадливости, к себе, к ней, ко всему на свете, вспомнилась Одесса, Москва — все то же, как говорят физики, плюс-минус единица. Плюс-минус единица — вот и вся разница.

Джоэл взобрался на скалу, Лина за ним, но не удержалась — Макс только успел крикнуть: "Лина!" — свалилась в воду. Джилл была ближе, бросилась первая, место было неглубокое, по колено, но девочка упала на спину, накатила волна, покрыла с головой, Джилл тут же подхватила ребенка на руки и в два прыжка выскочила на берег. Макс снял — не снял, а содрал! — с себя пальто, укутал дочь и побежал. Джилл и Джоэл бежали рядом, Лина поначалу, видимо, в шоке, молчала, теперь заплакала и всю дорогу плакала навзрыд, с причитаниями: "Мамочка, где моя мамочка, моя мамочка!"

Едва зашли в дом, Макс немедленно раздел ребенка, попросил водки, чтобы растереть. Фред сказал, растирать водкой — это пейзажная глупость, надо сделать массаж и укутать в теплое, велел Джилл принести электроодеяло, а сам взялся массировать. Лина требовала, чтобы массирует папа, но Макс сказал: "Перестань капризничать, дядя Фред — доктор".

Фред сказал: будем надеяться, все обойдется, но он бы предложил вызвать "Скорую помощь". Лина заплакала: "Не хочу в больницу!" "Перестань плакать, — приказал Макс, — в больницу не поедем — поедем домой".

У дверей, когда Лина была уже одета и собиралась выйти, Фред вынул из кармана конверт, подал Лине и сказал: "Здесь Ханука-гельт, это тебе". Лина спросила: "Сколько?" — хотела открыть конверт и посмотреть, но Макс остановил: нельзя, дома будешь смотреть.

Отвозила Джилл, Лина, как только сели в машину, открыла конверт и вынула три купюры: двадцать, двадцать и десять. "Слушай, — закричал Макс, — выхватил деньги и швырнул на пол, — это же не подарок ребенку, это нищим на жизнь!" Лина заплакала, Джилл сказала: "Отдай ребенку деньги, это не твои, это ее деньги, от двоих — от Фреда и от меня".

Когда приехали, Джилл спросила у Макса: "Я могу зайти к тебе?" Макс пожал плечами: после таких подношений, да такое смирение! "О'кей, — сказала Джилл, — я поехала: надо будет — звони, в любое время".

Ночью у Лины поднялась температура. Макс дал ей таблетку аспирина, таблетку тилонола, минут через десять на лбу выступила испарина, девочка перестала метаться, к утру, однако, опять появился жар. Макс снова дал по таблетке аспирина и тилонола, но в этот раз не помогло, температура держалась высокая, сто два, дыхание сделалось частое, прерывистое. Макс взял ложечку, велел Лине открыть рот, он хочет посмотреть горло. Оказалось, ничего страшного, небольшое покраснение, но про детский сад, конечно, не может быть и речи, придется посидеть с ней дома.

В восемь позвонила Джилл, объяснила, она ждала, звонка не было, решила позвонить сама: "Все в порядке?" "Не знаю, — сказал Макс, — есть температура, немного покраснело горло". Джилл не дослушала: "А дыхание, дыхание как?" "Дыхание, — сказал Макс, — неровное, частое". Джилл опять не дослушала, издала какой-то звук — стон не стон — послышался голос Фреда: "Макс, извините, но я бы повторил свой совет — вызвать "Скорую помощь". И еще: держите нас в курсе дела". "Спасибо", — сказал Макс и повесил трубку.

Через полчаса позвонили снизу. Звонок был резкий, тревожный. У Макса екнуло сердце. Это стало у него обычным в последнее время: когда звонили снизу, сердце реагировало внезапным толчком, как будто ожидалось несчастье. Никакого несчастья, как и в прежних случаях, не было: звонила Джилл, велела открыть дверь. Именно так, не просила, а велела: Открой! Голос был непривычный — гулкий, хриплый — наверное, от резонатора.

Прямо с порога — успела только сказать: "Я к Лине", — направилась в спальню, пальто сняла на ходу, бросила на диван в гостиной. У Макса было неприятное чувство, злым голосом спросил: "В чем дело, что за срочность?" Джилл взяла Лину за руку, нащупала пульс — девочка открыла глаза, взгляд был равнодушный, опять закрыла — с полминуты следила по часам, спросила у Макса: "Ты считал? Сто шестьдесят, Фред опасается, что воспаление легких". "Фред не доктор, — сказал Макс, Фред — дантист". "Фред — доктор, — Джилл сощурила глаза, — не терапевт, но доктор, и амби-

ция твоя до одного места: вызывай "Скорую" — у ребенка воспаление легких".

Лина провела в больнице две недели. Был день, когда Макс казалось, он сходит с ума — ребенок терял сознание, на шее вздувались вены, лицо синело, подключили искусственные легкие, — хотелось выброситься в окно, он уже и готовился, и стекло наметил, и несколько раз, мысленно, выбивал его, и видел себя падающего, и, как ни странно, именно эта мысль — что он может в любое мгновение покончить с собой — приносила успокоение, проходило отчаяние, возвращались силы, и девочке, как будто от отца передавались ей все эти токи, становилось на время лучше, а потом все повторялось сначала: Макс опять намечал стекло, подходил к окну, появлялось сладостное чувство освобождения, в голове подымался звон, как в колокол били: Хо-ро-шо! Жизнь кон-чен-нн-а!

Когда кризис миновал и Лина пошла на поправку, Бэдфорд сказал Макс: "Вам повезло, что это случилось в Америке, где каждый госпиталь имеет такую аппаратуру, в России подобный случай, я думаю, мог бы иметь другой исход". Макс сказал: "Да, нам повезло, что в Америке".

Через несколько дней Бэдфорд сообщил Макс, что он пытался выкроить для него ставку на следующий учебный год, но ничего не вышло: они рассчитывали, будет, как было, а получилось гораздо хуже, "Русский бум, — сказал Эндрю, — прошел, американская молодежь не имеет бывалого интереса к России". "Да", — подтвердил Макс, ему говорили: былого интереса к России нет. "Дорогой, — Эндрю обнял Макса, — вы же знаете, на все мода, а мода приходит и уходит: sic transit gloria mundi".

Джилл сказала Макс: "Не отчаивайся, что-нибудь найдем!" "Найдем", — говорил Макс и приводил в пример своих друзей: один, сценарист, — в таксистах, другой, кинорежиссер, — ночным сторожем с собакой. Прекрасная собака, овчарка, очень привязались друг к другу. Джилл морщилась: "Перестань ерничать, они же все без английского, а у тебя — английский". "Английский, — Макс хотел удержаться, но не

мог, выблевывалось само, — в Америке английский, как во Франции французский, а во Франции последний извозчик говорит по-французски”.

“Надо разослать резюме”, — говорила Джилл. Макс соглашался, надо, на сто резюме, которые он разослал летом, получилось сто ответов, сто, как один: “Дорогой доктор Розенбаум, сожалеем...”, а в конце приписка: “В случае нужды, будем иметь вас в виду”. Приписка не везде, приписка в одном из десяти. Макс пожимал плечами: “Все в норме, свободный рынок, на доктора Розенбаума в Америке нет спроса”. И добавлял: “Надо было ехать в Израиль”. Джилл отвечала спокойно, зеленые глаза горели, а голос был спокойный: “Надо было, и сейчас не поздно — садись-катись!” Потом вдруг не выдерживала и набрасывалась: “И они пусть катятся на зеленом катере к едреной матери, твои сценаристы-таксисты, режиссеры-сторожа, если в Америке так плохо!”

На критику в адрес Америки — табу: она, Джилл, может, а он не может, она здешняя, это ее земля, а он гость, званный, незванный, какое это имеет значение — гость. Макс еще раньше говорил ей: “У вас, американцев, комплекс неполноценности, жадете похвалы, хвалят вас, значит, верно, не зря о себе хорошо думаете”. Джилл в ответ щурила глаза, губы кривились — не то усмешка, не то презрение. Макс чувствовал: ей больно — и говорила: “Бред, это у вас комплекс неполноценности, все с вывертами: как же, русская душа! И Солженицын ваш — сибирский валенок. С ног до головы в Гарварде обверзался, да тут же и поклон гнилым америкашкам отвесил, шепотом на ухо переводчику: “Поблагодарите их, поблагодарите, что под дождем стояли”. Как же-с, надобно и благодарность знать!”

Когда проходило ожесточение, Джилл брала Макса за руку, приближала, чтобы хорошо видеть, лицо вплотную и спрашивала: “Кто ты — русский, еврей?” И сама отвечала: “Корней у тебя нет”. Макс отшучивался: “Человек без паспорта, Агасфер, Вечный Жид”.

“Я поцелую тебя, — сказала Джилл, — можно?” Она подняла его руку, прижала к губам. Когда отпустила, он увидел:

на глазах у нее слезы. “Ты не американка” — сказал Макс. “Не болтай, — Джилл зажмурила глаза, — что ты знаешь об американках!”

Лину выписали в субботу. Накануне вечером позвонила Джилл: “Я приеду к тебе, поедем за ребенком, о’кей?” “О’кей,” — сказал Макс. Вышел утром на улицу и остановил такси: госпиталь Кони-Айленд! Когда вернулись, Джилл ждала у входа. Первые слова были к Макс: “Как тебя выдерживает твоя Мирра!” Лине привезла кучу игрушек, какие-то одежды, с четверть часа разбирали, примеряли вдвоем, Макс смотрел тяжелыми глазами, Джилл повернулась спиной, наконец, не выдержала, встала: “Господи, это не дом — это свинцовый бункер”. Перед уходом обняла Лину, наклонилась, было впечатление, что хочет поцеловать или ждет поцелуя, девочка опустила голову, попрощались за руку. Макс проводил до лифта, Джилл сказала: “Не вижу трагедии, в худшем случае, будешь получать полгода по безработице, нужны деньги взаймы — хоть сегодня, и, наконец, есть велфер: правительство берет — правительство дает”. “Не все, — сказал Макс, — есть еще улица: папа и дочка с протянутой рукой”. “Да, — подтвердила Джилл, — есть и улица: папа и дочка с протянутой рукой. И точный адрес есть: угол Пятой авеню и Сорок Пятой улицы, контора “Аэрофлота”.

Вчера пришло письмо от Мирры: опять отказали. И все тот же мотив: дочь выехала в Израиль, в Израиле не проживает, а воссоединиться только там — в Израиле.

Макс взял стакан, налил до краев, хотел выпить в один дух, не получилось, на четверть не дотянул, обожгло горло, внутри, в животе боль поднялась, как будто каленым лезвием по кишкам полоснули. Макс сказал себе: болит, пусть болит, хорошо, что болит. Боль держалась недолго. Когда прошла, внезапно, как будто прятался, ждал своего момента, подступил к горлу страх, — по всему телу, не как прежде, когда начиналось с живота, а одновременно. В руках, в ногах, в груди, в голове пошел холод — нездешний, неземной — пронзительно синий, как будто сгустили воздух до жидкости, и жидкость эта в миг заполнила все тело. Прекратилось кру-

жение снега, хлопья, как на экране, когда рвется лента, повисли в пространстве. "Все, — сказал себе Макс, — жизнь кончена, смерть. Смерть!" — повторил Макс, сердце как будто кто-то — кто! — рванул тело книзу, понеслось вдогонку, толчки его, беспорядочные, торопливые отдавались в животе, в горле, в ушах.

Лина спала, колени подогнуты, руки между ног, голова подбородком в грудь, сжалась вся в комок — инстинкт: чем меньше места занимаешь в этом мире, тем меньше опасность от него. Макс смотрел, как сторонний, и мысли были, как у стороннего, лежит ребенок, девочка, у девочки есть мама, есть папа, есть дедушка, бабушка, утром проснется, надо умыться, накормить, одеть, отвести в сад, потом надо привести из сада, опять умыться, накормить, раздеть, одеть, погулять, почитать, уложить спать, а утром... У людей, у животных все то же: сука обхаживает, учит своих щенят, кошка — своих котят, подсунь чужого — за чужим присмотрит.

Макс вылил остаток в стакан, бутылка, пинта "Смирновки", с датой "1818" /забыли указать: от Рождества Христова/ — литыми, стеклом по стеклу, цифрами, с короной над щитом, с четырьмя коронами на щите, хоть не мытая, да чище мытой. Пинта, это сколько? Поллитра? Чуток не тянет — граммов на тридцать. Все у них, американцев, так, чуток не тянет: кварта — на литр, пинта — на поллитровку, полпинты — на четвертинку. Зато полгаллона есть у них, два полгаллона — галлон, русская четверть. "Не!" — сделал Макс пальцем, — не четверть: четверть на галлон не тянет. Переплюнули, значит, русских: пинтой не взяли, так галлоном ухнули!"

Кружил снег, залеплял глаза, ноги уходили в сугробы по колено, над головой, как фонари в тоннеле, пятна желтого света, тоннель черный, белизна — вся от снега и там, над океаном, такая же, от снега, а под ней — тьма, от века, как была еще до слова Его: "Да будет свет!"

До самого берега, сколько ни шел, не встретил ни души. С Брайтон-Бича позвонил Джилл. Джилл переполошилась: "Ты где, дома?" "Дома, — сказал Макс, — на бордвоке, за-был, как по-русски: помост, настил, прогулочная? — гастро-

ном "Москва"! Джилл закричала: "Ты с ума сошел!" Макс повесил трубку.

Гастроном "Москва" был закрыт, железные шторы опущены. Моська Пельц, одесский лавочник с женой Бибкой, у которой титьки, как две пудовые гири, бросили свое заведение. Макс забарабанил в шторы: "Отоприте!"

Над океаном монотонно, заведенный людьми, когда была еще жизнь на Земле, гудел звуковой маяк. Макс спрыгнул с помоста, без малого этаж, весь до подбородка ушел в снег, долго барахтался, наконец встал на ноги, теперь было до паха, двинулся вперед, сначала мелким шагом, расталкивая снег перед собой, потом стал вытаптывать дорожку на местах повыше, где намело меньше, стал перебрасывать ноги, как ходули, чуть заводя в стороны.

Шел напрямик, к воде. Внезапно споткнулся, нога уперлась в твердое, упал на руки, в ладонях острая, как будто скреблом продрали, боль. Встал: впереди огромная, и конца не видно, белая гробница, вспомнил, каменная гряда, летом ходили сюда с Линой, загорали. Осмотрел руки, ладони были в крови, снег таял и, перемешанный с человеческой кровью, бурый, затекал под рукава.

Скалы уходили в океан, вода где-то совсем близко, Макс побежал, снега делалось все меньше, не выше щиколотки; наконец, белое кончилось, пошел песок, но не плотный, как обычно, а хлюпкий, нога, едва ступив, тут же утопала, ощущение было неприятное, мерещились провалы, замаскированные ямы, расставленные кем-то, чем-то — вздор: кем? чем? для чего? — но тревога была и не проходила, пока Макс не нашел объяснение: под песком снег, который намело вчера, во время отлива, а потом, приливом, намело новый слой песка, и этот песок лег поверх снега.

Наконец пошел плотный, как будто утрамбовали катком, песок, хрустели раздавленные раковины, иногда нога ступала на тугие, упругие диски с шаровой, как у мяча, поверхностью. Макс присмотрелся: медузы, чем ближе к воде, тем было их больше. Временами возникало ощущение, будто прыгаешь с мяча на мяч, неподалеку, у самой воды, весь берег был поч-

ти сплошь усеян ими. Макс отыскивал зазоры между ними, но зазоры были малы, меньше человеческой ступни, не было возможности оберечь живые эти диски от удара, который означал для них конец жизни, и у Макса безостановочно вертелось в голове: убил! убил! убил!

Макс свернул налево, в сторону Манхэттен-Бича, волна забегала под ноги, откатывалась назад, в океан, и снова, набравшись силы, катила на берег, в этот раз уже не под ноги, а поверх, разбиваясь о человеческие ноги, и тут же, принимая в себя вспененные свои брызги, опять отступала в океан, чтобы собрать силы для нового набега.

Макс не мог остановиться, было явственное ощущение, что он бежит с кем-то наперегонки и останавливаться нельзя. Это кто-то, невидимое, без голоса, — слышалось отчетливо лишь его дыхание — было все время рядом, и едва Макс ускорял или замедлял свой бег, оно тут же, как будто оба были на одном жестком поводу, повторяло маневр человека.

Внезапно Макс добежал до следующей каменной гряды, недалеко от того места, где кончается деревянный помост, послышался человеческий голос, вытягивавший бесконечно долго "aaa!", которое звучало то как вопль, то как призыв. От помоста к океану бежал человек, рамахивал руками и продолжал кричать, теперь его "aaa!" уже не было воплем, теперь оно было обрывком человеческого имени.

"М-aaa-кс!"

Макс встал лицом к помосту, далеко за помостом виднелась дома, снег перестал падать, воздух над белой землей сделался прозрачный, среди облаков мчали огромные, как в увеличительное стекло, звезды, за спиной был океан, черный, со светящейся, где облака уходили в воду каймой по горизонту. Макс побежал к помосту — в первые секунды было странное, будто схватили сзади за плечи и тянули изо всех сил назад к воде, ощущение. Макс наклонил тело вперед и так, наклонясь, миновал на песчаной отмели вышшую точку, где сила эта, тянувшая его к океану, вдруг стала слабеть, но выпрямиться все равно нельзя было. Через несколько

шагов пошли снежные сугробы, тело само в поисках облегчения норовило, сколько возможно, быть ближе к земле, моментами, казалось, оно почти падает, но на самом деле оно выпрямилось, снег был уже выше колен и не давал наклониться, как прежде, когда ногу можно было еще выставить далеко вперед и согнуть, сколько надо, в колене.

"М-aaa-кс!"

Теперь отчетливо был слышен голос Джилл, тело ее делало странные, из стороны в сторону, колеблющиеся движения — было впечатление, что она выбилась из сил, через несколько шагов она внезапно погрузилась вся в снег, на поверхности виднелось лишь черное пятно. Макс закричал: "Джилл!" Пятно оставалось неподвижным, у Макса все оборвалось внутри — она задыхается! — но страх тут же миновал, пришла безумная злоба. Он оттолкнулся с силой, раз, еще раз, тело сделалось неимоверно легким, было ощущение полета, не полного еще полета, но начала его, когда биплан берет еще разбег по кочковатому грунту и колеса его, прежде чем окончательно оторваться от земли, вспрыгивают, подбрасывая самолет в воздух.

Макс поднял ее, она привалилась всем телом, дыхание было частое, с тяжелым выдохом, положила руку под ребра, хотела что-то сказать, но не могла, открыла лишь рот, голова чуть приподнялась, но тут же упала, как будто подсекли все мышцы, связки шеи. Макс сказал: не надо говорить, пусть помолчит. Над горизонтом, где была светящаяся кайма океана, взошла луна, звезды продолжали свой бешеный бег наперегонки между облаков, внезапно останавливались, и тогда начинали свой бег облака, обгоняя друг друга, цепляясь за рваные края, сталкиваясь, волоча за собою ошметки, белые, серые, черные, бесшумно, без единого звука. Макс впервые с удивлением подумал: миры рушатся, миры сотворяются без звука, только здесь, на Земле, предметы имеют голоса и самый громкий — голос человека.

Джилл подняла голову, обняла Макса двумя руками и сказала: "Поцелуй меня". Макс поцеловал в лоб. Она сказала: нет, не в лоб, так целуют покойника, когда расстают-

ся навсегда, притянула его голову к себе, впилась губами и держала долго, прижимаясь, присасываясь, пока хватило дыхания.

Макс повернул ее лицо к океану. Она сказала: "Идем отсюда, хочу домой, мне страшно". "Идем", — сказал Макс, взял ее за руку и повел к океану. Она повторила: ей страшно, она хочет домой, но шла вперед, за Максом, не сопротивляясь.

На востоке, где взошла луна, океан лежал тяжелый, с тяжелым ртутным блеском, западная часть вся была черная, лунный свет терялся на середине, ближе к востоку. Джилл потянула Макса за руку: "Идем отсюда, мне страшно, хочу домой!"

Хрустели под ногами раздавленные раковины, вдоль берега, как будто заброшенные из других миров, лежали тысячи дисков с матово-серебристой, какая бывает у студня, поверхностью. Джилл воскликнула: "Что это, боюсь!" Макс не отвечал, тянул ее за руку вперед, она сама сказала: "Медузы, ненавижу медуз, мне страшно! Хочу домой!" Остановилась, сделала движение, чтобы вырвать руку. Макс потянул с силой, и тогда она закричала: "Нет, нет, не хочу туда!" Макс обернулся, глаза были фарфоровые, как будто из одного белка. Она опять закричала: "Нет! Нет!" — бросилась на песок, падая, успела схватить Макса двумя руками и увлекла за собой.

Они лежали рядом, на спине, небо почти очистилось, звезды прекратили свой бег, но еще во власти недавнего возбуждения выплескивали из себя пучки света, и тут же, спохватясь, притягивали их обратно, к себе. Между звездами ничем не заполненные зияли куски черного неба. Джилл прижалась к Максиму сказала: "Кто мы? Зачем мы здесь?" Макс повернулся набок, лицом к ней, хотел подняться, она обхватила его руками, быстро, задыхаясь, проговорила: "Нет! Нет!" — развела ноги и стала забирать на себя.

Сначала, когда Макс входил в нее, она только вскрикивала, как будто боль подступала мгновенно, толчками, и тут же отступала. Потом, когда он уже весь был в ней, она завела

руки к лицу, пальцы судорожно сжимались, губы, как у греческой маски, застыли в непереносимом страдании, из груди, из живота, шел безостановочный стон, то высокий, пронзительный, как вопль, то низкий, глухой, как рык. Сначала Максиму казалось, тело его растет, стремительно увеличиваясь в размерах, потом, когда заполнилось все пространство, тела не стало, было лишь ощущение "Я" — бестелесного, непротяженного, вне времени, вне пространства: у времени и пространства есть границы, а границ не было. Макс определенно чувствовал — была Вечность — и смерть, о которой он сейчас думал, была не противоположность жизни, не небытие, не отрицание жизни, а высший взлет, наивысшая точка жизни, когда жизнь, как и смерть, освобождается от своей плоти и становится тем, что не имеет меры, а равно лишь самому себе и из себя, вычленяет то, что люди именуют временем, пространством и жизнью. Это всегда вызывало удивление: каким образом в мире, где все имеет начало и конец, люди постигли Вечность? Мозг не может продуцировать идеи, выдавать информацию, которые не заложены в нем. Он может комбинировать их, но комбинация — это не новое, комбинация — это лишь игра, перестановка во времени и пространстве, а Вечность не дана ни в чем сущем, сущее всегда во времени и пространстве.

"Я — Вечность", — сказал себе Макс и тут же, пока еще произносил, почувствовал: нет, не так, никакого "Я" нет, "Я" — это от здешнего мира, "Я", пока оно "Я", не адекватно Вечности. Вечность адекватна одной себе, и человеческий мозг от нее, и все бытие человечества — это развертка одного гигантского мозга во времени-пространстве и возврат через него к Вечности.

"А-а-а!" Это был не крик, не стон, не вопль, это был звук не из здешнего мира, он коснулся Земли лишь на секунды, принесся откуда-то, встряс воздушную оболочку и унесся куда-то.

Джилл обвила своими ногами тело Макса, коленями сжала с боков, стопы свела на спине, тесня пятками позвоночник, судорожно впилась в губы, губы приткнулись к зу-

бам, во рту сделалось солоно. Джилл, подав нижнюю челюсть вперед, стала отжимать верхние зубы Макса и, чуть образовался раствор, протолкнула свой язык, конец его, плотный, упругий, как голова ужа...

"Аааа!" На этот раз звук был гулкий, раскатистый, из тела Джилл, расprostертого на Земле, которая вместе с людьми, исторгнув из себя жизнь, вязкий, спрессованный сгусток Млечного пути, извивалась в последней конвульсии.

Макс лежал тяжелый, расслабленный, Джилл опустила ноги, выпрямила их, Макс спросил: "Тяжело?" — Оперся на локти, было впечатление, он хочет встать, она приказала, лежи, хорошо, что тяжелый, расслабься, еще расслабься, обняла его, прижала голову к себе, сказала — ты пил, ты много пил — чуть отвела его голову, поцеловала в одну щеку, в другую и прошептала: "Ты слишком много пил, я так боялась за тебя"...

Волна подкатила к ногам, Макс сказал: "Вставай, простудишься!" Джилл мотнула головой: "Не хочу вставать, хочу заболеть из-за тебя, хочу, чтобы ты знал, что из-за тебя, и пусть тебя мучает совесть, и пусть у тебя будет страх, как у меня, когда я услышала пьяный — она стиснула зубы — пьяный! — твой голос в трубке".

Макс встал, взял Джилл на руки, она сказала: "Ты хочешь утопить меня, утопи, я знаю, ты хочешь, утопи". Макс ступил в воду и так, шлепая по воде, пошел к скалам.

"Господи, — Джилл приподнялась, обняла Макса за шею, — если бы ты знал, как я боялась за тебя!"

Месяц взошел над океаном, было много света, но, странно, свет был только на поверхности, а под ним была тьма, невидимая глазу, она представлялась настоящим, реальным, а свет был призрачным, пелена его безмерно тонка, на изгибе волны она рвалась, обращенная к берегу сторона тотчас делалась черная, и эта чернота была настоящей.

Они стояли у скал, скалы были покрыты снегом, Джилл сказала: это не скалы, это белый зверь, он огромный, он свирепый, он не любит тьмы, боится тьмы, он хочет проглотить тьму, он сейчас бросится на тьму и проглотит ее.

Макс стал взбираться на скалы. Джилл сказала: "Подожди, я тоже хочу", Макс остановился, подал ей руку, стал подниматься вверх. Снег был глубокий, когда попадали в расщелину, до паха. Джилл сначала в испуге только вскрикивала, потом стала упираться. Макс без слов продолжал тащить ее вверх. Она сказала: "Не надо, я боюсь, я боюсь, не надо!" Макс обернулся: глаза были фарфоровые, как там, на берегу, когда она бросилась на песок. Джилл закричала: "Макс!" Он отпустил руку, она сделала шаг вперед, тут же, в этот раз до пояса, провалилась в снег; первое ощущение было — еще мгновение и ее покроет с головой, она закричала: "Помоги!" Макс остановился, фигура его снизу вверх была огромная, черная, как на экране в театре теней, махнул рукой и побежал вперед.

"Стой, — кричала Джилл, — стой!"

Гряда уходила в воду, у дальнего края ее глубина была метра три, Макс прыгал со скалы на скалу, не проваливаясь, не погружаясь в сугробы, было нелепое впечатление, он видит скалы сквозь наметы снега. Джилл, наконец, выбралась, Макс остановился, покрутил рукой в воздухе — иди! — и опять побежал.

"Иду, — закричала Джилл, — иду!"

Снег ближе к переднему краю шел на убыль, местами вышались небольшие холмики. Джилл старалась ступать на эти холмики, поначалу безотчетно, затем догадалась: под ними скалы! После каждого прыжка она на мгновение останавливалась, чтобы проверить прочность опоры, потом решила: останавливаться нельзя, теряется время. Макс был уже далеко, казалось, у обрыва, за которым идет океан. Она закричала: "Макс!" — До следующего выступления было метра полтора, она знала, что в один прыжок не достанет его, но прыгнула, правая нога, которая была впереди, опустилась на снег и тут же ушла в глубину, потянув за собою все тело, Джилл успела выбросить вперед руки, ладони ударились об острое, было ощущение, что вонзились рыболовные крючки и рвут во все стороны, задержалась на мгновение и погрузилась с головой в снег. Перед глазами была сначала огромная черная

пелена, затем пелена стала стремительно, подсвеченная багровыми огнями, краснеть, пока не сделалась яркая, как солнце на закате, и после этого опять, как вначале, обратилась в черное.

Макса не было. Джилл, еще когда была там, под снегом, знала: Макса нет.

"Макс, — кричала Джилл, — Макс!"

Она перебиралась со скалы на скалу, цеплялась за выступы, на снегу оставались пятна крови, в лунном свете они были не красные, они были бурые, она вставала на ноги, дергала себя за волосы и кричала бессмысленное: "Ааа!"

"Ааа!" — кричала Джилл, рвала на себе волосы, падала в снег, подымалась и опять кричала.

... Тело Макса нашли в полдень, далеко от берега. Полисмен сказал: "Крепкий был парень, в одежде — и так заплывать!"

Русская газета дала извещение на первой полосе: "Джилл и Альфред Кесслеры безмерно скорбят о трагической гибели доктора Макса Розенбаума".

Фридрих ГОРЕН ШТЕЙН

БЕРДИЧЕВ

Драма в трех действиях, восьми картинах, 92 скандалах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Рахиль Капцан, урожденная Луцкая

Рузя ее дочери
Люся

Марик ее внуки, сыновья Рузи
Гарик

Вилля, ее племянник

Злота, ее старшая сестра, портниха, живет с ней в одной
квартире

Сумер, ее брат, заведующий швейной артелью

Миля Тайбер, муж Рузи, фотограф на заводе "Прогресс"

Броня Михайловна Тайбер, его мать

Григорий Хаимович Тайбер, его отец

Быля Шнеур, двоюродная сестра Луцких

Йойна Шнеур, ее муж, работает в лагере военнопленных,
заведует буфетами на железной дороге

Пынчик (майор Петр Соломонович), двоюродный брат Луцких

Бронфенмахер, сосед Луцких по дому
 Беба, его жена
 Макар Евгеньевич, сосед Луцких по дому, сапожник-кустарь
 Дуня, его жена
 Луша, мать-одиночка, уборщица во дворе Луцких
 Стаська, молодая украинская полька, живет в доме Луцких
 Колька Дрыбчик дворовые мальчишки
 Витька Лаундя
 Сергей Бойко
 Фаня Бойко, его жена соседи Луцких по дому
 Зоя, их дочь
 Борис Макзаник, заводской поэт
 Полковник Маматюк, герой освобождения Бердичева,
 позже отставник
 Полковник Делев, Герой Советского Союза, позже
 отставник
 Вшиволдина, жена полковника
 Овечкис Авнер Эфраимович московские евреи
 Овечкис Вера Эфраимовна

Картины 1-я и 2-я происходят в один день лета 1945 года, 3-я и последующие картины происходят в разные годы, начиная с 1946 и кончая серединой 70-х годов.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина 1-я

Квартира в доме из серого кирпича с пузатыми железными балконами, который выстроил еще до революции местный бердичевский богач доктор Шренцис. Большая комната, очевидно, в прежние времена, при старых хозяевах, — столовая. Под высоким потолком вдоль стен лепной орнамент, довольно аляповатый из каких-то цветочков и птичек, сейчас, к тому же, пыльный и грязный. Высокая, до потолка, кафельная печь также покрыта цветным орнаментом. Окна кажутся узкими от полуторной высоты. В окна видно разросшееся дерево и электрический столб, на котором железная шляпа-абажур без лам-

почки. Далее узкий булыжный переулочек, пустырь, огражденный колючей проволокой, крыши одноэтажных домов, несколько обгорелых развалин и на горизонте упирающийся в небо силуэт красивой водонапорной башни, расположенной в центре города.

Посреди комнаты стоит старый, но крепкий дубовый стол, покрытый клеенкой, несколько старых стульев и свежестроганных табуретов, очевидно, чтобы дополнить стулья, которых мало для живущей здесь семьи. Вдоль стены буфет с чашками, старый книжный шкаф и платяной шкаф. Все явно из разных гарнитуров, сборное. На буфете гипсовый бюст Ленина и два кувшинчика, из которых торчат красные бумажные цветы. На стене, над продавленным диваном, — некогда хорошей кожи, ныне же ободранной — висит портрет Сталина. Высокие белые двери ведут в другую комнату, там видна железная кроватка и над ней коврик базарной живописи "Утро в сосновом бору".

По комнате шумно и тяжело ходит Рахиль, женщина лет сорока, в лице, фигуре и жестах которой чувствуется нечто лошадиное. Крепкими своими руками она хватается стоящие на подоконнике банки с вареньем и бутылки с наливкой, встряхивает их, нюхает, заглядывает внутрь, пробует. При этом губы ее постоянно шевелятся, а глаза быстро, по-охотничьи смотрят на Вилю, бледного подростка, который делает вид, что не замечает метаний Рахили и, сжав ладонями уши, читает у стола книгу. Рахиль не может затеять шумный скандал, поскольку в соседней комнате сестра ее Злота примеряет платье своей заказчице Вшиволдиной, жене полковника. Злота маленькая, со скрюченными пальцами, оттопыренными губками, к которым всегда что-нибудь прилеплено: нитка, шелуха семечки, хлебные крошки... Злоте под 50, у нее плоскостопие, ходит она осторожно, ставя ноги, как по льду.

З л о т а (*напевает, делая наметки*). Тира-ра-рой... Птичечка, пой...

В ш и в о л д и н а . Зинаида Павловна, под рукой немного тянет.

З л о т а . Меня зовут Злота Абрамовна.

В ш и в о л д и н а . А мне больше нравится Зинаида Павловна... Вы согласны? (*Смеется*).

З л о т а , (*тоже смеется*). Пожалуйста... Пусть будет Зинаида Павловна... Тира-ра-рой, птичечка, пой... Тут будет встречная складка. Снимется, подрежется. Я вам сделаю комплимент: я люблю, когда у заказчицы хорошая фигура...

Р а х и л ь (*тихо, как бы про себя*). Суют ложки... Ложки суют... Пробуют, пробуют... Нор мы квыкцех... Получают

удовольствие... Мои дети никогда не берут чужое... *(Замечает, что из бутылки особенно много выпито)*. Виля, Виля, Виля...

В и л я. *(тихо)*. Сама ты воровка...

Р а х и л ь *(словно обрадовавшись, тихо)*. Я воровка? Чтоб ты лежал и гнил, если я воровка. *(Поднимает правую руку)*. От так, как я держу руку, я тебе войду в лицо...

В и л я. На... *(даёт ей дулю)*.

З л о т а. Тира-ра-рой, птичечка, пой... *(Вшиволдиной)*. Подождите, я возьму сейчас нитки для наметки *(выходит в столовую, тихо)* Боже мой, ведь стыдно перед человеком...

Р а х и л ь. Ты молчи... Вот сейчас ты схватишься за свои косичечки... Сейчас начнешь танцевать перделемешку...

З л о т а. *(хватается за лицо)*. Боже мой... *(Уходит.)*

В и л я. На... *(даёт Рахили дулю)*.

Р а х и л ь. Чтоб ты опух, так было бы хорошо... *(Ходит, встряхивает банки и бутылки)*. Суют ложки... Пробуют... Так было бы хорошо... Так было бы хорошо...

З л о т а. Мадам Вшиволдина, пройдите к зеркалу. *(Вшиволдина входит в столовую и начинает вертеться перед зеркалом)*.

Р а х и л ь *(к Вшиволдиной)*. Ну, как товарищ полковник? Что-то я его не видела на партконференции.

В ш и в о л д и н а. Он уехал в Западную Белоруссию, там у брата неприятности. Полюбил девушку, а родители против: за коммуниста замуж не пойдет. Они всех русских там называют коммунистами.

Р а х и л ь. Да, что я не понимаю: политика партии и в национальный вопрос? Вы с какого года в партии, товарищ Вшиволдина?

В ш и в о л д и н а. С сорок третьего.

Р а х и л ь. Так вы еще молодой коммунист. Если сейчас мы имеем сорок пятый, то вы имеете стаж два года. Ну, тоже не плохо. А я, слава Богу, в партии с 28-го года. Мой муж — тоже член партии, убит на фронт. Вот я вам сейчас покажу *(достает из буфета старую, туго набитую бумагами сумку, вытаскивает несколько бумаг)*. Вот написано: пал смертью храбрых в районе города Изюм.

В ш и в о л д и н а. Это под Харьковом... Да, там в 43-м жуть что творилось.

Р а х и л ь. Жуть, а? Так он должен был туда попасть *(начинает плакать)*. Я осталась с двумя сиротами. Младшая, Люся, скоро должна придти из школы, отличница, а старшая, Рузя, учится в техникуме... И вот, племянник *(показывает на Вилю)*, круглый сирота, моей покойной сестры сын, а эта моя сестра еле ходит *(показывает на Злоту)*.

В ш и в о л д и н а. Не расстраивайтесь, у многих на войне погибли родные. Что ж сделаешь...

Р а х и л ь *(всхлипывает)*. Бердичев освободили зимой 44-го года, а летом я с детьми уже была здесь. Я приехала по вызову горкома партии, как старый коммунист. Мой муж тоже был коммунист, работник типографии... Вот у меня ключи здесь в сумке, видите? Этот ключ от буфета, а этот от шкафа, которые я оставила здесь в 41-м году... Я знаю, где мои вещи, где моя мебель... Моя мебель в селе Быстрик... Рассказывают, что молочница, которая нам носила молоко, приехала с подводой и забрала всю мою мебель. Ей она понравилась. Но что, я пойду в Быстрик, чтоб мне голову сняли? Вот эта вся мебель, вот этот стол, кровать, буфет, стулья, диван — это все мне органы НКВД дали. Сначала меня горком направил завстоловой НКВД. А теперь меня направили на укрепление кадров в райпотребсоюз. К чему я это говорю, товарищ Вшиволдина? Здесь за стеной живет некий Бронфенмахер из горкомхоза, который только хочет ходить через моя кухня... Что вы скажете, товарищ Вшиволдина, он имеет право устроить себе черный ход через моя кухня и носить через меня свои помои? В землю головой чтоб он уже ходил... На костылях чтоб он ходил... Что, я не знаю, родители его были большие спекулянты, их в 30-м году раскулачили.

З л о т а. Зачем ты так говоришь? Его отец был простой сапожник. Я очень правильная... Я Доня с правдой...

В ш и в о л д и н а *(смеется)*. А кто такая Доня?

З л о т а. Это была такая революционерка. Она всегда любила говорить правда. Так ее звали Доня с правдой.

Рахиль. Вот она вам скажет... Революционерка Доня была? Сионистка Доня была. А у Бронфенмахера дядя тоже был сионист, он в 20-м году уехал в Палестину... Если я за этого Бронфенмахера возьмусь, так ему станет темно и горько... Я к Свинару зайду... Со мной нельзя начинать... Он мне будет носить помои через моя кухня. Я его сделаю с болотом наравне... Рахиль Луцкая кое-кто еще знает в Бердичеве... Я по мужу Капцан, но меня в городе знают как Луцкая...

Вшиволдина. Не надо ругаться (к Злоте), так когда следующая примерка, Зинаида Павловна?

Злота. Зайдите через три дня.

Рахиль. Со мной нельзя начинать. Меня кое-кто в городе Бердичеве знает. Вот, пожалуйста, товарищ Вшиволдина (достаёт из сумки бумажку, читает), "Мандат номер 413. Капцан Р. А. дійсно является делегатом XIV районной конференции Бердычевского району". Так этот Бронфенмахер будет носить через меня свои помои...

Вшиволдина переодевается в соседней комнате.

Рахиль. Всего доброго, товарищ Вшиволдина. Злота, ты хорошо закрыла двери? Гоем снизу придут что-нибудь украсть, а ты потом скажешь, что ты не виновата.

Злота (к Виле). Ну, она от меня рвет куски... Я не могу выдержать... Если б я не была больная, я б уехала куда-нибудь (плачет) к чужим людям.

Рахиль. Если б баба имела яйца... Вот сейчас придет Сумер или Быля со своим животом (надувает щеки и показывает какой у Были живот), так ты на меня наговоришь...

Злота (плачет). Сумер — наш брат единственный, а Быля наша двоюродная сестра... Я к ней ничего не имею... Она моя заказчица, дает мне заработать на хлеб.

Рахиль. Ша, сумасшедшая... Сразу она начинает писать глазами... Сразу она танцует перделемешка. Ты знаешь, Виле, что такое танцевать перделемешка? Это когда истерика... А ведь можно прожить тихо, мирно... Я с моими детьми,

Злота с тобой, Сумер со своей семья, кто у нас еще остался?

Виле (Рахили). Заткнись!

Рахиль (к Злоте). Ну, что ты скажешь? Ты ж говоришь, что только ты опекун... Хороший племянничек... (к Виле). Болячка на тебя... Я сварила немножко варенья для своих детей, немножко наливки на свои копейки, чтоб иногда немножко к чаю, так он сует ложки в банки...

Виле. Чтоб ты так жила...

Рахиль. Чтоб я таки так жила... Болячка тебе в лицо... Такой железный парень, а вынести ведро с помоями некому... (Сердито стуча ногами, выходит на кухню, слышно, как она гремит ведром, как хлопают входные двери. Кричит). Злота, прислушайся... Гоем придут, украдут кастрюли или моя телогрейка, а потом ты скажешь, что ты не виновата.

Злота (к Виле). Зачем ты ей говоришь "заткнись"?

Виле. А что, я ей буду молчать?

Злота. Если б Рахиль все не заносила домой, нам было бы плохо... Но у нее такой характер, она нервная...

Виле. Она все заносит домой? А ты знаешь, когда она идет получать хлеб по карточкам на себя и на нас, так она часть нашего хлеба перекладывает себе...

Злота (смеется). Я вижу, что-то нам не хватает. А они трое кушают, и им еще остается.

Виле. Я ей скажу, что она воровка...

Злота (испуганно). Ой, я не могу выдержать...

Виле (передразнивает). Не могу выдержать... Ой, вей... И вечно у тебя на губе что-то висит. Сними нитку с губы, смотри противно.

Злота (плачет). Это за все хорошее, что я ему сделала.. Я такая больная... Помни, Виле, помни...

Виле. На... (дает ей дулю).

Рахиль (врывается с красным лицом, с вытаращенными глазами). Ой, быстрее... Прячь, прячь... Всюду журналы мод раскиданы, всюду нитки, катушки... Виле, закрой машину рядом...

Злота. Рухл, не бросай, ты мне все выкройки порвешь...

Рахиль (тяжело дышит). Злота, быстрее... Тут во двор

один зашел... Луша снизу говорит, что это фининспектор. Когда-нибудь я останусь с моими детьми из-за тебя несчастной. Придут и опишут мою мебель. Все гоем снизу знают, что здесь живет портниха.

З л о т а. Ой, я мертвая...

Р а х и л ь. Когда-нибудь я стану из-за тебя несчастная с моими детьми! Виля, собирай быстрее журналы... Когда-нибудь я возьму все выкройки и все журналы и сожгу их...

З л о т а (плачет). Это мой заработок, на что мне жить?

Р а х и л ь. Иди в артель, как все! Ты не хочешь работать на государство.

З л о т а (садится на стул). Ой, мне плохо... Я больная...

Р а х и л ь. Злота, ты делаешь уже свои номерочки? Что ты скажешь, Виля, я хочу ей плохого?.. Боже паси... Я снесла ведро, мне Луша снизу говорит: Рахиль Абрамовна, тут во двор зашел один, так, кажется, это фининспектор... Сидит и стонет, как квочка... Если плохо, принимают лекарство... Хочешь немножко варенья?.. Виля, походи намери два стакана воды себе и Злота, с вареньем очень вкусно... Какой ты хочешь варенье: вишневое или клубничное?

З л о т а (плачет, к Виле). Я имею от нее отрезанные годы...

Р а х и л ь. Сумасшедшая... Ты думаешь, почему эти гоем снизу не присылают сюда фининспектора? Слышишь, Виля, они б давно сюда прислали, но здесь во дворе Макар Евгеньевич делает сапоги, он член партии, но он кустарь. А Дуня, его жена, вяжет на базар кофты. Они знают, что если гоем ко мне пришлют фининспектора, так я к ним пришлю фининспектора. *(Слышен стук в дверь.)* Ой, это Люся идет из школы... Мне, чтоб было за ее кости...

Быстро идет в переднюю и возвращается с двумя девочками лет 12-13. Люся темноглазая, но на Рахиль не похожа, а вторая девочка бледная и беленькая.

Л ю с я. Мама, можно Зоя у нас побудет, у них дома никого нет...

Р а х и л ь (недовольно). Пусть будет... Что ты имела сегодня за отметки?

З о я. У Люси сегодня по алгебре 5, по географии 4.

Рахиль. Ау тебя?

З о я. Меня сегодня не вызывали.

Р а х и л ь (к Люсе). Может Рузю подождем, чтобы вместе пообедать? Она скоро должна прийти из техникум.

Л ю с я. Нет, мамка, мы голодные.

Выходят с Зоей на балкон.

Р а х и л ь (ворчит). Мы голодные... Разве это заметно. *(К Злоте).* Фаня специально присылает сюда свою девочку, чтоб она у нас питалась... Это та еще Фаничка... Живет с гоем... Она из веселых и глухих... Ей говорили — сядь, она ложилась...

З л о т а (испуганно). Ша, тихо. Зоя ведь услышит.

Р а х и л ь. Пусть слышит. Мне кисло в заднице... Виля, будешь тоже обедать?

З л о т а. Зачем ему обедать, что у него своего обеда нет?

Р а х и л ь. Не хочешь, так не надо... Мне кисло в заднице...

Виля (к Рахили). Закрой пасть...

Рахиль. Сам закрой пасть... *(К Злоте).* Что ты скажешь? Закрой пасть... Чтоб ты опух...

Люся и Зоя выходят с балкона хохоча и хлопая в ладоши.

Л ю с я и З о я (вместе, хлопая в ладоши друг друга). Сим-сим-сима, мать моя Маша, к всем, к всем примерам, мой сыночек пионером...

Рахиль (к Зое). Папа больше не бьет мама?

З л о т а. Ах, в моей жизни... Что ты спрашиваешь?

Рахиль. А что я спрашиваю?

З о я (всхлипывает). Я пойду...

Виля (Рахили). Ты дура...

Рахиль. Ты дурак... От так, как я держу руку, так я

тебе войду в лицо *(кричит громко и визгливо.)* От так я дам от себя...

З л о т а. Боже мой. Боже мой! *(Хватается руками за волосы,)*

Л ю с я. Мама, перестань, мама... *(Уводит Рахиль в соседнюю комнату.)*

Р а х и л ь *(из соседней комнаты).* Он мне будет говорить дура, заткнись, воровка... Болячка ему в мозги...

З л о т а *(Виле).* Зачем ты ей говоришь — дура?

В и л я *(Злоте).* Ты тоже дура... На... *(дает ей дулю, хватая книгу и выбегает.)*

Р а х и л ь *(выходит из соседней комнаты. Сквозь слезы).* Дети, сейчас я вам дам хороший суп с мука и говяжий жир... Зоя, ты любишь погрызть косточка? Мяса нет, но косточка хорошая, с хрящиками... Садитесь, дети. *(Слышен стук.)* О, как раз Рузя вовремя...

Идет открывать, слышны в передней разговоры, и она возвращается со своим братом Сумером и второй дочерью Рузей. Сумер лет 55-ти, с оттопыренными ушами. В его лице тоже есть нечто лошадиное, как и у Рахили, но это не рабочая лошадь, а веселый, худой жеребец. Нижняя губа толще верхней, типичные губы едкого насмешника. Рузя похожа на Рахиль, но 17 лет придают вытарашенным черным глазам и припухлым губам какую-то наивную привлекательность.

З л о т а. Смотри-но... Где вы встречались?

С у м е р. Какая разница... Я вижу, идет красивая девочка... Рузя, почему ты такая шейне мейделе? *(Хватает ее за руку).* Такую красивую девочку надо щупать... Щупай, щупай... *(Рузя хохочет.)*

Р а х и л ь. Ну, Сумер, что ты скажешь, где взять хорошего жениха?

З л о т а. А я говорю, ей еще рано замуж... Рузя должна учиться, окончить техникум... Во... Я очень правильная... Я Доня с правдой...

Р а х и л ь *(Сумеру).* Что ты скажешь на эту Доню с правдой? Сумер, я имею от нее отрезанные годы... Если я ее выдерживаю, так мне надо дать звание Героя Советского Союза, как полковнику Делеву... Ты знаешь Делева?

С у м е р. А что я не знаю Делева? У него нет глаза...

Л ю с я. Мама — Герой Советского Союза. *(Смеется.)*

Р а х и л ь. Да, я — Герой Советского Союза, если я от нее выдерживаю.

С у м е р *(смеется).* Злота, зачем ты трогаешь Рухеле?

З л о т а. Ты такой же, как она... Вы думаете, что оба умные, а я дура...

Р а х и л ь. Слышишь, Сумер, ты ж меня знаешь. Если я сказала, так это сказано. Виля не такой плохой, как она его делает плохим. Ему ничего нельзя сказать. Недавно дети пришли, Люся и вот ее подруга Зоя. Это Фани Бойко дочка. Ты знаешь Фаню?

С у м е р. А что же, я не знаю Фаню, которая замужем за гоем?

Р а х и л ь. Так я говорю, Виля, садись обедать с нами. Он мне отвечает — ты дура, заткнись...

З л о т а. Ты можешь свести эту стену с той стеной.

Р а х и л ь. Чтоб я так была здорова.

Р у з я. Мама, ты виновата сама. Надо один раз ударить, а ты только говоришь.

З л о т а. Пусть того ударит гром, кто Вилю ударит.

С у м е р *(смеется).* Злота, зачем ты ругаешь Рухеле? Ну, я пойду. У вас здесь кричат...

Р а х и л ь. Подожди, Сумер, ты ж только что зашел. Сядь-но, расскажи, что нового, как Зина?

С у м е р. Зина любит деньги... А в квартире у меня так грязно, так воняет... Моя жена неряха, ты ж это знаешь... Что тебе еще рассказать. *(Нюхает).* Рухеле, ты ведь такая хозяйка, почему у тебя воняет?

Р а х и л ь *(нюхает).* Злота, ты ела редьку *(смеется).*

З л о т а. Ну я не могу выдержать *(плачет).* Всегда она на меня наговаривает.

Р а х и л ь *(Сумеру).* А ведь можно прожить тихо, мирно... Сколько нас осталось. Мой муж погиб, твой сын погиб, наша сестра умерла, наш младший брат Шлойма погиб, папа и мама умерли в Средней Азии... Сколько нас осталось... Вокруг одни враги... Вот тут за стеной живет Бронфенмахер... Ты знаешь Бронфенмахера?

С у м е р. А что, я не знаю Бронфенмахера из Горкомхоза?

Рахиль. Так он хочет только ходить через моя кухня. Вот тут есть дверь. Раньше это была общая квартира, жил один хозяин, здесь сам Шренцис когда-то жил, а теперь мы эту дверь замуровали. Что ты скажешь, он будет носить через меня помои... Я ему голову сниму... Это Йойны Шнеура товарищ, Былиного мужа...

З л о т а. Она только хочет, чтоб я ругалась с Былей.

Рахиль. Если Йойна работает в лагерь военнопленных по снабжению, так он думает, что большой человек... А она дует от себя, она у себя очень большая. Всегда она водит знакомство только с докторами. Вот так она ходит и дует от себя (*кривит лицо, надувает щеки, выпячивает живот, ходит и дует.*)

Слышен стук в дверь.

Рахиль. Сегодня веселый день, дверь не закрывается.

Идет открывать, входит Фаня (соседка Рахили и Злоты).

Ф а н я. Здравствуйте. Моя Зоя у вас? Зоя, идем домой.

З о я. Я еще хочу побыть у Люси.

Ф а н я. Папа уже лег спать, не бойся.

Рахиль. Ну, посиди, Фаня...

Ф а н я. Ой, мне стыдно перед людьми, смотрите, какой у меня под глазом синяк... Вэй из мане юрен...

Рахиль. Ой, вэй з мир... Ну, подай в суд, чего ты молчишь... Что значит, он тебя бьет... Это ж не царский режим сейчас...

Ф а н я (*плачет*). Ой, Рахилечка, у меня двое детей от этого гоя... И во время оккупации он нас не выдал, спрятал меня с детьми...

С у м е р. Где ж он вас мог спрятать?

Ф а н я. Сумер Абрамович, он нас в село отвез... Под Реей... Тридцать километров от Бердичева. Там у него поп родствен-

ник. Сергей достал бумаги, что я украинка и дети украинцы. Всю оккупацию прятал. А теперь напьется, бьет меня, кричит мне — жидовка, и детям тоже кричит — хитрые жи-ды...

Рахиль. Как тебе нравится, Сумер, такое горе... Так это хоть пьяный гой. А тут за стеной живет еврей, так ему могут глаза вылезти... Фаня, ты знаешь Бронфенмахера?

Ф а н я. А что же, я не знаю Исака Исаевича? И Бебу?

Рахиль. Это та еще Бебочка. Я помню, как она одевала большую шляпу и выходила на бульвар...

З л о т а. Зачем на людей наговаривать?

Рахиль. Злота, дай чтоб от тебя отдохнули уши... Это ты его боишься... Он мне говорит, если ему не разрешить похорошему носить через нас помои, он поломает стену... А я говорю, а ну, попробуй, Бронфенмахер, я хочу видеть (*сильный удар на кухне.*) Ой, что это! (*Бежит на кухню и возвращается громко крича.*) Ой, Бронфенмахер ломает стену... Ой, ой, ой...

Люся начинает плакать, Злота хватается за сердце и садится на стул.

Ф а н я. Зоя, пойдем домой (*они уходят*).

Рахиль. Уходите, все уходите. Сумер, что ты стоишь с открытым ртом. Брат называется, мужчина.

С у м е р. У вас здесь всегда кричат. (*Уходит.*)

Рахиль. Я сама себя буду защищать. Я сейчас возьму топор. Я этому сионисту горло перережу.

Р у з я. Тише, мама, он уже перестал ломать.

Рахиль (*громко кричит и плачет*). Я ему голову сломаю. Я осталась без мужа, с сиротами, а он будет ломать стену мне.

Входит Бронфенмахер и его жена Беба. Оба под стать друг другу, низенького роста, цепкие, с сердитыми, решительными лицами.

Б р о н ф е н м а х е р (*Рахили*). Луцкая, тебя все в городе знают как скандалистку, но советский закон тебе не позволят нарушать... Я старый чекист...

Рахиль. Чтоб тебе глаза вылезли, какой ты чекист. Ты гнилой спекулянт и ты говоришь про советский закон. Ты хочешь носить через моя кухня помои. Мой муж убит на фронт...

Беба. Я тебе сейчас наплюю в лицо.

Рахиль. Кровью чтоб ты плевала...

Беба. Поцелуй меня знаешь куда...

Рахиль. Чтоб тебя туда чиряки целовали... Нарывы чтоб тебя туда целовали... Чтоб ты опухла... Чтоб ты лежала и гнила... Немая и слепая чтоб ты стала... Болячка тебе в мозги... Чтоб тебе каждая косточка болела...

Бронфенмахер. Не отвечай ей, Беба... Луцкая, ты эту квартиру вообще занимаешь незаконно... Думаешь, мы не знаем, что в 44-м году ты без ордера сорвала замок и вселилась сюда. Здесь должен жить бухгалтер Горкомхоза Харик, у него восемь детей...

Рахиль. Выйди, а то я сейчас возьму топор и дам тебе по голове... Я зайду к Свинару в горком партии, так тебе будет темно в глазах... Ты сионист... Твой дядя живет в Палестину...

Беба. Чтоб тебе так дыхалось, какая это правда.

Бронфенмахер. Тише, Беба (*указывает на входящего с книгами в руках Вилю.*) А где твой родственник? У меня в Палестине нет близких родственников, если надо я это докажу. А где твой родственник?

Рахиль. Мой муж убит на фронте, сын Сумера тоже убит, и мой младший брат Шлойма убит... Я член партии с 28-го года, а ты сморкач, спекулянт, твоих родителей раскулачили...

Беба. Чтоб тебе так дыхалось, какая это правда...

Бронфенмахер. Тише, Беба... Я спрашиваю, где отец этого парня? Он арестован как троцкист...

Злота (*хватается за лицо*). Ой, вэй...

Рахиль. Тихо... Ты только, Злота, не пугайся... Виля, ты не бойся... Бронфенмахер, это наш ребенок... Это мой ребенок, такой же, как Рузя и Люся... Ты понял, Бронфенмахер... Дядя этого ребенка убит под Харьковом за Советскую

власть... А если ты еще скажешь слово, Бронфенмахер, так как я держу руку, я тебе войду в лицо...

Беба (*Бронфенмахеру*). С кем ты разговариваешь, Исачок... Это же базарная баба...

Рахиль. А ты блядюга...

Злота. Ой, Боже мой...

Беба. А ты курва...

Злота. Ой, Боже мой...

Бронфенмахер. Ладно, идем, Беба, идем. Мы с ней поговорим в другом месте...

Беба (*Рахили*). Ты, воровка, думаешь, я не помню, какая у тебя была растрата в Торгсине в 25-м году...

Рахиль. А твоя мать была из веселых, еще при Николае...

Беба (*визгливо*). Чтоб вы все сдохли!

Рахиль. Вы через моя кухня помои не будете носить... На костылях вы ходить будете... Дерево должно упасть на вас и убить обоих, или покалечить... Машина должна наехать и разрезать вас на кусочки...

Беба. Со своей рубашкой чтоб ты ругалась... С рубашкой чтоб ты ругалась...

Под крики и плач ползет занавес

Картина 2-я

Двор дома, в котором живет Рахиль с семьей. Вдоль всего второго этажа тянется деревянная веранда-балкон. На веранду ведет деревянная крутая винтообразная лестница. Напротив двухэтажного дома каменный флигель, сложенный из такого же серого кирпича. П-образно к дому и флигелю деревянные сараи. У сарая возится Луша, складывает дрова. Под верандой, у одной из дверей первого этажа, сидит Стаська, молодая украинская полька и играет на аккордеоне модный мотив из немецкого фильма. На деревянных ступеньках флигеля сидят Макар Евгеньевич, его жена Дуня, Колька, по кличке Дрыбчик, Витька, по кличке Лаундя, и играют в карты. Макар Евгеньевич вида степенного, состоятельного, с золотыми зубами во рту. Дуня, жена его, выглядит старше его, круглолица, одета в капот. У Луши вид крестьянки, недавно приехавшей в город. Колька и Витька — обычные после-

военные подростки-хулиганы, в военных обносках. Стаська, модная девушка 45-го года, из тех, кто допоздна шатается по бульвару. Со второго этажа, из квартиры Рахили, слышны крики и плач.

Стаська *(смеется)*. Жиды дерутся...

Луша *(возясь с дровами, устало)*. Хотя б они поубивали друг друга.

Дуня *(смеется)*. Что тебе, Луша, евреи в борщ наплевали?

Луша *(мрачно)*. Работать на них надо. Пусть бы сами дрова свои потаскали. Весь второй этаж евреи заняли, а снизу мы живем.

Стаська *(смеется)*. Ничего, война начнется, опять они в Ташкент побегут и все свое барахло нам оставят.

Колька - Дрыбчик. Анекдот слышали? Встречаются трое. Один говорит: я лоцман. Другой говорит: я боцман. А третьему нечем похвастать, он говорит: а я Кацман. *(Смеется)*.

Макар Евгеньевич. Ты брось эти анекдоты, ходи лучше с козырей... Дуня, у тебя сколько карт осталось?

Дуня. По одной не ошибешься.

Витька *(к Кольке)*. Дрыбчик...

Колька. А?

Витька. На...

Колька. Жуй два *(смеется)*. Я тебя купил, Лаундя...

Витька. Дрыбчик...

Колька. Ты меня, Лаундя, не купишь.

Витька. Таких дешевых не покупают, их даром дают *(смеется)*. Я тебя купил...

Стаська *(поет и играет на аккордеоне)*. Завлекала, завлекала и тебя я завлеку. Не таких я завлекала, с револьвером на боку...

Витька. Завлечешь... Пиской по морде получишь, мойкой по глазам.

Стаська *(смеется, поет)*. Оцем, дроцем, двадцать восемь, от а зекел бейнер, аз дер тоте кишт ды моме, даф ныт высен кейнер...

Дуня. Что это значит?

Стаська. Отцем, дроцем, двадцать восемь, вот мешок костей... когда папа целует маму, так никто не должен знать...

Колька. Крепко ты по-жидовски говоришь.

Стаська *(смеется)*. А может, я жидовка? К жиду богатому в жены попрошусь, как вареник в масле буду... *(Поет.)* С неба звездочка упала и другая котится, полюбила лейтенанта и майора хочется...

По лестнице вниз спускаются Фаня и Зоя.

Луша. Фаня, иди-ка сюда... Что там за крик?

Фаня *(смеется)*. Бронфенмахер хочет через кухню Луцких себе черный ход сделать.

Луша. Чего ты туда ходишь, Фаня? Тебя в войну Сергей спас, когда всех евреев в ямы на аэродром гнали? Спас?

Фаня. А я разве говорю, что нет...

Луша. Ты ему должна быть благодарна до конца жизни, а ты к евреям своим ходишь и жалуешься на него.

Фаня. Ой, чтоб я так жила, что я на него ничего не говорю. Зоя учится в одном классе с Рахилиной дочкой... Я ей говорю, чего ты туда ходишь? Папа из-за тебя меня ругает, что я тебя туда посылаю... И Рахиль думает, что я ее посылаю, чтоб она там кушала. Нужна нам их еврейская еда... Думаете, я не помню, Луша, когда я до войны вышла замуж за Сережу, он был веселый такой, молодой, такой футболист, так все евреи говорили на меня, что я проститутка... Таки правильно говорят: спасай Россию, бей жидов...

Луша переглядывается со Стаськой и Дуней, смеются.

Макар Евгеньевич *(подавляя улыбку)*. Иди, Фаня, тебя Сергей ждет. Он тут интересовался, куда ты пошла.

Фаня и Зоя входят в одну из дверей на первом этаже. Мимо сараев с помойным ведром проходит Борис Макзаник. Это парень-переросток с обезьяньим лицом. Сверху по лестнице спускается Виля.

В и л я . Борис Макзаник нас заметил и, в гроб сходя, благословил...

М а к з а н и к *(широко улыбаясь)*. Привет... В Цесека не хочешь? В центральный ср... понял? Сра... Комитет... Ну, в уборную хочешь? Пошли вместе.

В и л я . Нет, не хочу... А как дела на литературном фронте?

М а к з а н и к . Хочешь, почитаю. *(Ставит на землю помойное ведро)*.

**Старинный город Петроград
Теперь прозвали Ленинград,
Построен был еще Петром,
Как много балов было в нем...**

Колька, подкравшись, бьет Макзаника под зад. Макзаник, схватив ведро, удирает.

В и л я *(удирает, кричит испуганно)*. Мама!

М а к а р Е в г е н ь е в и ч *(скрывая улыбку)*. А ну, Коля, перестань...

К о л ь к а *(хохоча)*. Так я ж Вилю не трогаю. Иди сюда, Виля, садись с нами в карты...

В и т ь к а . Он говорил, что он хусский... Ты хусский?

В и л я . Я хотел сказать, что я русский еврей, но русский я успел сказать, а еврей не успел, потому что меня срочно домой позвали...

В и т ь к а *(хохоча)*. Его домой позвали...

В и л я . Нет, правда... Есть бухарские евреи в Средней Азии, есть грузинские — на Кавказе, а я русский... Хотя вообще-то я наполовину... Моя мать из Польши... А отец тоже не совсем ясно кто... Я был в детдоме, так меня эти евреи взяли на воспитание... Я ведь на еврея не похож...

М а к з а н и к *(проходя мимо с пустым ведром)*. Только все евреи похожи на тебя...

В и л я . А ты, Бора, выйди из мора, чтоб тебе ручки и ножки обсохли, а животик я тебе вытру сама...

М а к з а н и к . Сам жид, а на другого говоришь.

Виля *(к Кольке)*. Дай закурить.

К о л ь к а . Сам стрельнул...

Виля. Ну дай бенек потянуть...

Колька дает окурок. Виля курит. Слышен новый взрыв криков и плача.

Д у н я . И не устанут.

Л у ш а . Нет, это уже не там, это не у Рахили. Это Сергей Бойко опять Фаню бьет.

Из дверей на нижнем этаже, откуда слышны крики и плач, показывается Сергей Бойко. Он в майке, спортивных шароварах и босой. Похмельное лицо его искажено злобой, волосы всклокочены. Садится рядом с Макаром Евгеньевичем.

С е р г е й . Беркоград проклятый. Бердичев — еврейская столица...

М а к а р Е в г е н ь е в и ч . Сергей, зачем жену бьешь? Нехорошо.

С е р г е й . Разве жидовка может быть женой... Бегает к своим жидам наверх на меня жаловаться...

Л у ш а . Что ж ты ее, Сергей, от немцев спас? Зачем прятал?

С е р г е й . Так это другое дело. У меня от нее дети. А детям мать нужна, потому и прятал... Ух, Беркоград проклятый...

М а к а р Е в г е н ь е в и ч *(улыбается)*. Так говорят, Бердичев скоро переименуют... Горсовет уже прошение подал в Киев, в Верховный Совет... Черняховск, вроде бы, будет. В честь погибшего генерала Черняховского, а кто говорит в честь генерала Ватутина... Есть слухи, что в честь Котовского назовут, который здесь, на Лысой горе, долго находился, там его казармы были... Или в честь Щорса... Здесь ведь музей Щорса есть... Или, говорят, в честь Богдана Хмельницкого, который Бердичев от поляков освобождал...

С е р г е й . Да бросьте вы, Макар Евгеньевич, ну какой русский генерал или полководец согласится дать свое имя

Бердичеву... А который погиб, семья не допустит... Как был он Беркоград, так и останется Беркоградом.

Макар Евгеньевич. Может найдется... Если не генерал, так полковник.

Сергей. Какой полковник?

Макар Евгеньевич *(улыбается)*. Маматюк... Герой освобождения Бердичева, командир танкового полка Бердичевской дивизии... Не Бердичев теперь будет называться, а город Маматюк...

Сергей. И то лучше, хоть не по-жидовски... Откуда? Из Маматюка... Ничего *(смеется)*.

Макар Евгеньевич *(улыбается)*. Тише... Разве не видишь, вон он идет, полковник Маматюк... Я еще издала его заметил и вспомнил.

Через двор проходит, гремя орденами и медалями, полковник Маматюк. Останавливается, подходит к Виле и вырывает у него из рук дымящийся окурок.

Маматюк *(Виле)*. Сопляк... Разве за это я воевал на фронте, чтоб такие сопляки курили... *(К Сергею)*. Ты отец его?

Сергей *(обиженно)*. Ну какой я ему отец, товарищ полковник? Бойко моя фамилия. А разве он обликом похож на Бойко?

Маматюк *(Виле)*. А где твой отец, говнюк?

Виля *(опустив голову, покраснев, тихо)*. Погиб на фронте...

Маматюк. А разве за это погиб твой отец, чтоб ты теперь курил? Ты в каком классе?

Виля *(опустив голову, тихо)*. В седьмом.

Маматюк. А кто у вас военрук?

Виля. Степин...

Маматюк. Знаю его... Только надо говорить: майор Степин... Ну-ка, встань, повтори...

Макар Евгеньевич *(Виле)*. Встань, с полковником говоришь...

Виля *(встает)*. Майор Степин.

Маматюк. Посмотрим, чему тебя научил майор... Ну-ка, вложи пять пальцев в рот и скажи: солдат, дай пороху и шинель... Вот так вложи *(показывает)*.

Виля вкладывает пальцы и произносит глухо фразу. Полковник бьет его по уху.

Маматюк *(смеется)*. Куряга... Где твоя военная хитрость? Тебя любой противник обманет... Ты ж мне сказал: солдай, дай по уху и сильней... В следующий раз увижу, что ты куришь, не так еще дам...

Уходит, гремя орденами и медалями. Все смотрят ему вслед. Колька и Витька смеются.

Дуня *(Виле)*. Больно тебе?

Виля. Нет...

Луша. Как нет, ухо распухло... Пойди к Рахиле, пусть мокрое полотенце приложит.

Виля. Да мне не больно *(начинает плакать)*.

Витька. Заревел... Ты ж хусский... Хусские никогда не плачут...

Дуня. Иди домой, Виля.

Колька. Куда домой? Вон литер к Стаське идет... Дай ему, Виля, чтоб он к нам во двор не ходил, и ухо сразу пройдет...

Во двор входит лейтенант, оглядывается, улыбается Стаське.

Макар Евгеньевич. Бросьте, ребята, драку здесь устраивать. Идите в парк драться.

Витька *(Виле)*. Ты ж хусский, что ж боишься?

Виля встает, подходит к лейтенанту, ударяет его сзади ногой и убегает.

Лейтенант. Ах, гаденыш, убью...

Вдруг в руках у Кольки появляется ружейный шомпол, а у Витьки кирпич. Лейтенант подбегает к молодому деревцу и вырывает его с корнем

Сергей. Пойду с Фаней мириться, а то еще и мне дадут.
(Уходит.)

Колька (лейтенанту). Оторвись!

На веранде показывается Рахиль и Злота. Рахиль упирается локтями в перила, Злота подносит ладошку ко лбу козырьком, прикрываясь от солнца, чтоб лучше видеть.

Рахиль. Гоем шлугензех...

Злота. Что такой?

Рахиль. Гоем дерутся...

Колька (лейтенанту). Оторвись!

Злота. Вус эйст оторвись? Что значит, оторвись?

Рахиль. Оторвись — эр зол авейген... Чтоб он ушел.

Злота. Ну так пусть он-таки уйдет... Пусть он уйдет, так они тоже уйдут...

Рахиль (кричит). Виля, иди сюда... Я тебе морду побую, если ты сейчас не пойдешь домой.

Виля. Оторвись!

Рахиль (Злоте). Ну, при гоем он мне говорит: оторвись... Язык чтоб ему отсох... (спускается вниз). Ну, Дуня, ты слышала как я ругалась с Бронфенмахером? Он хочет пробить стенку, устроить себе дверь ко мне на кухню и носить через меня помои... Что ты скажешь, он имеет право?

Дуня. Тебе нужен в дом мужчина.

Рахиль. Но где я возьму мужчину, Дуня? Мне сорок лет. Молодой на мне не женится, а старый зачем мне? Чтоб он, извините за выражение, мне в кровати навонял...

Дуня (смеется). Но у тебя ведь в доме молодая невеста.

Рахиль. Где же взять хороший жених? Ты же знаешь, Дуня, Рузечка у меня не тяжелая на голове... Я имею в виду, что это мой ребенок. (Всхлипывает.) Я осталась с детьми в тридцать семь лет. Я член партии с двадцать восьмого года. Мой муж погиб на фронт... Так теперь этот подлец Бронфенмахер хочет носить через моя кухня помои...

Дуня. Ты Тайберов знаешь?

Рахиль. А что я не знаю Тайберов? Они жили до войны в нашем доме по Белопольской... Вы жили на первый этаж,

я на второй этаж, а они жили над аптекой... Они из Одесс, но перед войной приехали в Бердичев. Отец фотограф. У них было двое сыновей Миля и Пуля... Миля перед войной женился, а Пуля я не знаю где теперь.

Дуня. Пуля пропал в войну... Он же на русского похож. Говорят, его в Германию отправили, и где он неизвестно. А Миля с женой развелся... Бывает неудача... Парень хороший, не раненый. Он в войну на Урале работал. По специальности тоже фотограф, как отец. С отцом вместе в фотографии работают они на Лысой горе в воинской части. Там они имеют неплохо.

Макар Евгеньевич. Каждый солдат на фотокарточку денег не пожалеет. По себе помню.

Рахиль. Но ведь моей Рузичке семнадцать лет.

Дуня. А Миле тридцать один. В самый раз. Ты знаешь, сколько у Тайберов есть денег? Если взять нас всех на вес и поставить мешок с их деньгами, так мешок перевесит.

Луша выходит с ребенком на руках.

Луша (к Рахили). Рахиль Абрамовна, дрова я сложила.

Рахиль. Ну, зайдешь, Лушенька, я тебе заплачу... Ну-ка дай мне твоя лялька... (Берет ребенка.) Как его зовут?

Луша. Тина...

Рахиль (улыбается). Тиночка... Агу, агу... Ой, пока эти дети вырастают... Я помню как я была беременна Рузей, как вчера это было, а уже семнадцать лет... Мэйлэ... Ладно... Помню, как я сидела на балкон, выпила стакан молока, мне стало плохо, и Капцан, это мой покойный муж, отвез меня в роддом... Ой взй з мир... Тиночка, агу, агу... Луша, но это не от немца? А то как я держу ее на руках, вот так я ее брошу на землю...

Луша. Что вы, Рахиль Абрамовна... Тут один наш русский работал в комендатуре истопником...

Рахиль (улыбается). Тиночка, агу, агу...

Дуня. Так Рахиль, что мне Тайберу сказать?

Макар Евгеньевич. А что говорить? Я считаю, пусть познакомятся молодые.

Рахиль (вздыхает). Пусть познакомятся, в добрый час...

Злота (кричит с веранды). Рухл, мясо на мясорубку делать?

Рахиль (отдаётребенка Луше). Вот она мне кричит... Малоумная, вус шрайсте? Что ты кричишь? Гоем должны знать, что у нас есть дома мясо?

Злота (хватается за лицо). Боже мой. Боже мой, она пьёт мою кровь... (Уходит.)

Рахиль. Злоте-хухем... Злота-умница... Кричит на весь двор... Гоем должны знать, что у нас есть дома мясо... У меня они бы знали, что в заднице темно, больше ничего...

Из-за сараев показывается Витька весь в крови.

Витька (смеется). Я уже получил (прикасается к волосам и показывает Макару Евгеньевичу красную, окровавленную ладонь: Смеется.) Макар Евгеньевич, я уже получил...

Занавес

Картина 3-я

В большой комнате накрыт стол в духе роскоши 46-го года. Стоят эмалированные блюда с оладьями из черной муки, тарелка тюльки, несколько банок американского сгущенного молока, жареные котлеты горкой на блюде посреди стола, картошка в мундире, рыбные консервы, бутылки ситро и бутылка спирта. У окна обновка — тумбочка с выдвигаемыми ящиками, на ней приемник с проигрывателем "Рекорд". В углу елка, украшенная бумажными цветами и ватой. За столом Рахиль, Сумер, его жена Зина, Пынчик — крепкий низенький майор в орденах и медалях, Дуня, Макар Евгеньевич, Рузя, Миля, его мать Броня Михайловна Тайбер, его отец Григорий Хаимович Тайбер, Люся, Виля. Злота ходит по кухне, гремит посудой, иногда показывается в дверях.

Григорий Хаимович (с красным лицом, поет). Лоз лыбен ховер Сталин, ай-яй-яй-яй, ай...

Миля (парень с бритым футбольным затылком). Э, батя, так не пойдет. Где больше двух, говорят вслух (к май-

ору). Правильно, Петр Соломонович? Где больше двух, говорят вслух. А тут за столом две нации.

Григорий Хаимович. Но это еврейская песня о Сталине.

Пынчик. Не Сталин, а товарищ Сталин...

Макар Евгеньевич. Раз еврейская песня, значит надо петь по-еврейски. У нас все нации равны. А ты, Миля, переводи мне.

Рахиль. Я эта песня тоже знаю, мы ее учили в клубе "Безбожник"... Ой вэй з мир... (показывает на Рузю.) Ее покойный отец так хорошо танцевал...

Рузя. Ай, мама, перестань, нашла время.

Григорий Хаимович. Лоз лыбен ховер Сталин, ай-яй-яй-яй, ай...

Рахиль (подхватывает). Фар дем лыбен, фар дем наем, ай-яй-яй-яй...

Миля (переводит). Пусть живет товарищ Сталин, ай-яй-яй-яй, ай. За жизнь за новую, ай, яй-яй-яй...

Рахиль. Фар Октябрь революци, ай-яй-яй-яй, ай. Фар дер Сталине конституци, ай-яй-яй-яй...

Миля. За Октябрьскую революцию, за Сталинскую Конституцию...

Макар Евгеньевич. Товарищ майор, скажите тост, а то народ заскучал.

Рахиль. Пынчик, скажи тост, чтоб мы все были здоровы...

Макар Евгеньевич. Тосты нельзя подсказывать со стороны.

Рахиль. Мы не со стороны. Он майор, но для нас он Пынчик. Это наш двоюродный брат из местечка Чуднов. Ой, Боже мой, там всех его родных убили, а он был на фронт и остался живой. (К Рузе.) Рузичка, чего ты молчишь?

Броня Михайловна. Она показывает свою скромность.

Григорий Хаимович. Молчаливая жена, это клад. (К Миле.) Мой сын, тебе повезло.

Миля. Мне всегда везет... Знаете анекдот... Арон, ты

играешь на трамбон? Я нет, но мой брат, да... Что да? Тоже не играет. *(Смеется.)*

Рахиль *(у двери, тихо)*. Злота, куда ты несешь котлеты? Ведь есть на столе.

Злота. Это твои котлеты, а это мои котлеты.

Рахиль. Вей з мир... Ведь стыдно перед людьми... Болячка на тебя, ведь перед людьми стыдно.

Пынк *(поет)*. Встанем, товарищи, выпьем за Сталина, за богатырский народ, выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот...

Рахиль. Я совсем забыла одеть свои медали... В прошлый месяц меня вызвали в военкомат и вручили две медали: "За Победу над Германией" и "За доблестный труд" *(достает из ящика медали)*. Всю войну я работала в пехотном училище. Я мыла на кухне такие котлы. Каждый котел как гора. Но зато мои дети имели лишний кусок каши.

Злота *(ставит перед Вилей котлеты)*. Кушай, Виля... И вот, пей ситро.

Виля. Не хочу.

Рахиль *(Злоте, тихо)*. Хорошо он тебе сказал, я довольна. *(Сумеру.)* Она ему дает котлеты, он ей говорит: не хочу...

Виля *(тихо)*. Заткнись.

Рахиль. Чтоб тебе рот вывернуло.

Миля *(Рахили)*. Теща, может, вы к нам подойдете... А то вы где-то ходите... Сядьте рядом со мной и Рузичкой...

Пынк *(встает)*. Товарищи! Уже месяц, как первый послевоенный 1946 год вступил на нашу советскую землю. И так радостно, что сейчас именно создается счастливая послевоенная семья.

Макар Евгеньевич. Горько!

(Миля и Рузя целуются.)

Рахиль. Ой вэй з мир *(плачет)*.

Дуня. Хорошая у тебя тюлька, Рахиль Абрамовна. И спирт хороший.

Рахиль. У меня все есть, я умею угостить. Я когда рабо-

тала в столовой НКВД, так начальник НКВД, товарищ Сниткин, очень любил, когда я накрывала на стол. Я ставила всегда много тарелок. Пусть на тарелке дуля была, но много тарелок *(смеется)*. Вот здесь за стеной живут некие Бронфенмахеры, так прошлым летом они хотели пробить на мою кухню стенку и ходить через меня с помойными ведрами... Но я им дала помойные ведра...

Рузя *(сердито)*. Мама, перестань.

Миля. Действительно. На свадьбе полагается рассказывать анекдоты, а не вспоминать неприятности.

Зина. Сейчас я вам расскажу анекдот про мой муж Сумер. Когда он идет со мной в кино, он всегда спит. Потом на экране выстрелили, он проснулся... Сумер, про что картина? Он говорит: Мы гейт арайн, мы шлуфцех ойс, мы тит а шис, мы гейтаройс *(смеется)*.

Миля *(смеется)*. Вы поняли, Макар Евгеньевич? Про что картина? Заходят, выспятся, когда выстрелят, тогда выходят...

Макар Евгеньевич. А вы эту еврейскую песню знаете: Ой, разменяйте вы мне сорок миллионов и дайте мне билетик на Бердичев *(смеется)*. Я ведь среди евреев вырос.

Сумер. Злота, дай мне твою котлету... Я котлету Рухеле кушать не хочу.

Рахиль *(Миле)*. Ты знаешь, сколько Сумер и Зина уже живут вместе? С 23-го года. А какой у них был сын Изя, золото, а не сын, такой мальчик... Ой, убили на фронт... *(Плачет)*.

Рузя *(сердито)*. Мама, перестань... У меня свадьба или похороны? Что ты меня оплакиваешь...

Миля. Ты, Рузя, тоже неправа, что мы виноваты, что маме на нашей свадьбе грустно? У нас в Одессе всегда на свадьбе рассказывают анекдоты.

Сумер. В 23-м году я имел свой магазин, как поворачивают на Житомирскую, на углу. Как заходят в переулок, сразу стоит дом. Так было раскулачивание. Так пришли босые шуцем... Босые жлоба из села и один говорит другому: это твой размер, Иван? — одевай. А это твой, Степан? — одевай.

У меня висели в магазине хорошие кожаные куртки, так они все надели на себя.

Рахиль. Ай, Сумер, ты еще не изжил психика капиталиста. Но Советская власть ведь дала тебе работу. Ты заведующий в артель. Правильно я говорю, Пынчик? Вот Пынчик при Советская власть сделался большой человек, майор. Он живет в Риге.

Сумер. А при Советской власти разве нет бедных и богатых? *(Смеется)*. Я одно знаю, что в 23-м году меня хорошо поломали. Пришли босые жлоба...

Рахиль. Сумер, если ты так будешь говорить, Макар Евгеньевич подумает, что ты большой контрреволюционер. Что ты враг народа. Тебе надо горе?

Сумер. У Макара Евгеньевича отец до революции держал извоз, гужевой транспорт. Что я не помню?

Макар Евгеньевич *(с красным от спирта лицом)*. После революции я всех лошадей Советской власти передал, а сам в Первой конной служил. Стрелять я не любил, а вот ближний бой я любил... Рубка *(кричит)*. Шашки наголо!

Злота. Ой, вэй з мир... Я спуталась...

Рахиль. Злота, не говори с полным ртом.

Злота *(Сумеру, тихо)*. Ну, она рвет от меня куски.

Сумер. Кушай, Злота, кушай.

Миля *(смеется)*. Рузичка мне рассказала очень смешной анекдот. Рузя, ну, расскажи всем!

Рузя. Ай, всем я не могу...

Григорий Хаимович. Ну, расскажи, Рузя... А после анекдота еще выпьем.

Рузя. В общем, один еврей пошел в баню...

Дуня *(смеется)*. Уже смешно...

Рузя *(говорит медленно, глядя перед собой)*. В общем, он приходит... И ищет свою жилетку... Нет, он сначала помылся, оделся, пришел домой... Его спрашивают, где жилетка. Он говорит: я не знаю. Тогда его спрашивают, где ты был? Он говорит: в бане...

Сумер. Ну, дым шпыц... конец...

Миля. Что вы ее подгоняете, дядя Сумер...

Макар Евгеньевич. Это один набожный еврей, раввин, приходит домой и кричит: разве это дом, это бардак... Ой, я вспомнил, где забыл свой зонтик *(смех)*.

Рузя. Нет, когда еврей этот одевался после бани, он одел жилетку на голое тело. А сверху рубашку. И приходит домой. Его спрашивают: где ты был? В бане...

Сумер. Ну, дым шпыц... конец...

Злота. Я тоже знаю анекдот... Это еще до войны, когда Молотов встретился с Гитлер, так Молотов зашел: "Страна моя...", тогда Гитлер сзади его выставил ему язык и зашел: "Москва моя..." *(Смеется)*.

Рахиль. Злота, ты что пьяная? Ди быст шикер? Что за анекдоты ты рассказываешь?

Злота. Ну, я не могу... Она всегда хочет быть надо мной хозяйкой... У нас был сосед, так он очень смешно рассказывал этот анекдот.

Миля. А кто по национальности был этот сосед?

Злота. Что? Он был парикмахер.

Рахиль. Она совсем глухая.

Злота. Почему я глухая?

Миля *(смеется)*. Действительно, почему она глухая? Она очень правильно ответила на мой вопрос. Я ее спросил, какой он национальности, она говорит — парикмахер...

Рузя. Я вспомнила... Этот еврей, когда пошел опять в баню, он нашел свою жилетку. Она была одета на голое тело под рубашкой. Но в баню он пошел только через год.

Миля. Нет, Рузичка, вот я закончу. Один еврей потерял жилетку, а нашел ее только через год... Почему? Потому что он надел ее на голое тело, а через год, когда пошел опять в баню, так он ее нашел.

Люся. Рузя, давай лучше про Хаима и Хайку.

Рахиль *(Люсе)*. Ой, чтоб мне было за тебя, моя сладкая девочка...

Рузя. Ты начни.

Люся. Хаим и Хайка сидели на дах. И объяснялись в любях. Хаим, ты меня любишь?

Рузя. Обязательно.

Люся. Хаим, я красивая?

Рузя. Очаровательно.

Люся. Давай же поженимся.

Рузя. Сиди и не гавкай, как собака (*смех, аплодисменты*).

Рахиль. Ой, чтоб то, что должно быть вам на одном пальчике, мне было на всем теле.

Миля. Давайте танцевать.

Рахиль. Вот я сейчас включу проигрыватель.

Миля. Поставьте какой-нибудь вальс.

Рахиль (*Рузе, тихо*). Рузя, но он тебе нравится?

Рузя. Ничего паренек...

Миля. Поставьте "Темная ночь"...

Вилля (*поет*). В темную ночь по Бердичеву страшно ходить, потому что разденут тебя до последних штанишек...

Пынчик (*Виле, строго*). Только не надо глупить... Эта песня помогала нам воевать... Мальчишка...

Рахиль. Ой, Пынчик, что я от него имею. Он мне кричит — заткнись, кричит — дура, кричит — оторвись...

Пынчик. Я б его отправил в ФЗУ. Пусть научится труду, приобретет специальность токаря или слесаря.

Злата (*сердито*). Пусть ваши дети будут слесари, а Вилля еще будет большой человек, большой врач или большой профессор, как его отец. Люди еще лопнут, глядя на него.

Миля. Включите, Рахилья Абрамовна, проигрыватель.

Рахиль включает, ставит пластинку. Звучит "Темная ночь". Миля и Рузя танцуют. Макар Евгеньевич танцует с Дуней.

Пынчик (*Рахили*). Прошу...

Рахиль. Ой, я уже все забыла (*танцуют*). Ничего... Что ты думаешь, Пынчик, я всегда была такая... Я когда шла танцевать с Капцаном, так все смотрели. Почему ты думаешь Люся так хорошо танцует, чтоб мне было за ее кости? Это папа ее хорошо танцевал. (*Стук в дверь*.) Ой, кто это?

Злата. Ой, это кажется ко мне заказчица...

Рахиль (*кричит*). Что значит заказчица, что ты не могла

ей назначить на другой день? У Рузички свадьба, где ж ты ей будешь мерить?

Злата. Я никому не назначала, но может человек перепутать. (*Стук в дверь сильнее*.) Сейчас я открою, я посмотрю.

Рахиль. Ой, я имею от нее с ее заказчицами отрезанные годы. Когда-нибудь придет фининспектор и сделает меня несчастной. Перепишет всю мебель. (*В передней крик Злоты*.) Ой, что такое, Злата... Вэй з мир...

Рахиль бежит к дверям, но раньше, чем она успела подбежать, в дверь входит Сергей Бойко. Вид его страшен. Несмотря на мороз, он в одних трусах, длинных до колен, на нем нет даже майки. К голой своей груди он прижимает грудного младенца, закутанного в одеяло и при этом постоянно монотонно кивает головой. Немая сцена.

Пынчик. Это кто такой?

Рахиль. Ах ты, сукин сын... Вот так как я держу руку, я тебе войду в лицо. Это один пьяница снизу... Ах ты, сукин сын, что ты ко мне пришел? Что тебе от меня надо? Это тут внизу живет Фаня, еврейка, так она замуж за этим пьяниц... Как он ее бьет, кричит ей "жидовка"... Ах ты, сукин сын, уйди, чтоб тебе не видать... И ребенок с собой принес... А где Фаня? Во время войны он ее прятал от немцев, а теперь он ей кричит: "жидовка"...

Рузя: Эту Фаню тоже надо гнать... Она к нам приходит, жалуется на него, а потом идет вниз и кричит, что мы жида...

Миля. Я его сейчас вытащу за шиворот.

Макар Евгеньевич. Так у него же шиворота нет, он же голый... Что, Сергей, до чертиков допился? Он, наверно, Фаню пришел искать. Здесь Фани нет, иди домой, Сергей, проспись... Чего ты головой все время киваешь, как контуженный?

Сергей, продолжая кивать головой, отдает Дуне ребенка.

Сергей (*заикаясь*). Тетя Дуня, Макар Евгеньевич, Рахиль Абрамовна... Фаня повесилась... Я просыпаюсь, она висит... Я Мишку взял и сюда пришел...

Рахиль *(кричит)*. Ой, ой, ой!

Общий крик и замешательство.

Дуня. Когда повесилась? Побегали, может спасти можно?

Сергей *(кивает все время головой)*. Нет... Холодная уже... Синяя..

Рахиль. Так это должно было случиться на свадьбу моей Рузи. *(С улицы слышны крики и плач.)* Ой, Боже мой. Боже мой, это Зоя плачет. Раньше этот гой кричал Фане жидовская морда, а теперь он прибежал голый... Чтоб его убило деревом...

Злота *(плачет)*. Зачем ты его проклинаешь? Он гой, но он отец двух детей. Он их теперь должен воспитывать. Боже мой, Боже мой, эта Фаня стоит мне перед глазами.

Рахиль. Ой, майн мозел... Мое счастье... Люся, выключи пластинка, поломается проигрыватель.

Миля *(Рахили)*. Успокойтесь, мама, ничего нельзя поделаться... Тем более, говорят, что покойник — это к добру... Значит, мы с Рузичкой будем счастливы...

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина 4-я

В большой комнате сделаны перестановки. У окна стоит старая швейная машина с ножным приводом, перенесенная из спальни. Здесь же две железные койки, отчего комната стала теснее. Из спальни видна спинка новой никелированной кровати с шпешками. Исчезла тумбочка со стоящим на ней приемником "Рекорд", очевидно перенесенная в спальню. За столом сидят Виля и Люся и играют шашками в чапаевцев, то есть щелчком по своей шашке стараются вышибить с доски шашку противника. Рядом за столом сидит Сумер в зимнем пальто, в ушанке и спит, опустив голову на грудь. Тут же сидит Рахиль. Перед зеркалом Злота примеряет платье Быле, своей двоюродной сестре, черноволосой женщине лет 35-ти.

Злота *(поет)*. Тира-ра -рой... Птичечка, пой... Тут будет встречная складка...

Рахиль. Быля, ты ж меня знаешь, если я говорю, так это сказано. Рузя должна была избавиться от этого одесского вора еще два года назад... Чтоб ему сохла и болела каждая косточка...

Злота. Ай, Рухл, перестань проклинать... Ты хотела, чтобы Рузя вышла замуж, я была против. Я сказала, Рузя должна кончить техникум.

Рахиль. Ты Злоту не слушай. Рузя не хотел учиться, она имела одни двойки. Если б она хотела учиться, я б нашла откуда ее содержать. Я б ела кусок хлеба с водой. *(Плачет)*.

Быля. Рахилька, что можно сделать, Рахилька... Это еще не самое плохое... У людей бывает такое горе... Возьмите ваших соседей, Бронфенмахеров...

Злота. Ой, я не могу выдержать. Когда пришли и сказали, что на них наехала машин и разрежала Беба на кусочки, а Бронфенмахер лежит в больнице, я три дня плакала. *(Плачет)*. Как раз на первое мая... А уже декабрь...

Рахиль. Ой, взй з мир, Беба уже восемь месяцев лежит в земле... Я Беба и Бронфенмахера знала с 1926 года...

Злота *(кричит Рахили)*. Это ты их прокляла... Я Доня с правдой...

Рахиль. Ну, Быля, так от нее можно выдержать... Если б моя сестра могла на меня сказать, что я Гитлер, так она бы это сказала... Тут два года назад, как раз на Рузичкиной свадьбе, в недобрый час повесилась Фаня Бойко... Так, если б Злота могла сказать, что я ее повесила, она б сказала.

Быля. Да, я слышала, в городе говорили, в городе... Он ее прятал при немцах, не выдал ее, а потом он ее бил и кричал ей "жидовская морда", он ей кричал... Я слышала...

Злота. Ой, эта Фаня стоит мне перед глазами... И как этот гой прибежал поздно вечером голый по снегу и плакал...

Рахиль. Вот так Миля должен бегать... Только без моей Рузи. Моя Рузя пусть будет жива и здорова, а Миля должен танцевать перделемешка...

Злота. Ах, ну она его ненавидит...

Люся (*смеется*). Сумер, перестань храпеть.

Рахиль. Это называется, что он пришел в гости к сестрам... Раньше этого не было. Вот так, Быля, он приходит иногда в семь часов утра, иногда вечером, когда у него есть время. Так одетый сядет, выпится у стола и уходит. Сумер, перестань храпеть...

Злота. Ой, вэй з мир...

Рахиль. Вот вы имеете еще одного сумасшедшего.

Сумер. Если б этот сумасшедший не кормил вас в Средней Азии, вы бы все сдохли с голоду. Я их нашел в чайхана, когда их привезли. Они все сидели закутанные в тряпки, в старые одеяла. (*Смеется*).

Вилля (*нервно кричит*). Ты и твоя Зина во время войны жрали булочки и шоколад.

Злота. Ша, Виля, ты не кричи...

Вилля (*Злоте*). Сама заткнись...

Рахиль. Что ты скажешь, Быля... Хорошо, я рада... (*К Виле.*) Ты, сморкач, вот так как я держу руку, так я тебе войду в лицо.

Виля разбрасывает шашки и идет на кухню, слышно как он одевается. Злота идет вслед.

Рахиль. Пусть он идет, станет голодным, придет... Это второй Милечка растет... Несчастливая женщина, которая попадет к нему в руки...

Злота. Про своих детей так говори. Виля еще будет большой человек. Люди еще лопнут, глядя на него.

Вилля. Здесь-таки сумасшедший дом, здесь-таки...

Сумер. И они еще меня называют сумасшедшим. Я еще плохой.

На улице слышен смех, топот, два голоса, мужской и женский затянули песню: "Наливайте мне да кружку чаю, до свидания, да я въезжаю... И-и-и-и, да и ха-ха-ха, до свидания, да я въезжаю..."

Рахиль (*смотрит в окно*). Это Сергей Бойко со Стаськой... А, реформа на вас... Чтоб из десяти стал один...

На улице Бойко поет: "Азохен вэй, сказал еврей, куплю штаны за пять рублей".

Рахиль. Как тебе нравится... Еврей азохен вэй (*становится на стул и кричит в форточку*). Ты Гитлер, Гитлер!

С улицы слышен смех и Стаська запела: "Оцен-дроцен, двадцать восемь, от а зекел бейнер..."

Злота (*Рахили*). Что ты ему говоришь, Гитлер? Если ты ему скажешь, Гитлер, он тебе скажет жид.

Рахиль. Ничего, это ты их боишься, а я их не боюсь... Реформа на них... Тут снизу живет Стаська, полячка, так она говорит по-еврейски... Я не люблю, когда гой говорит по-еврейски.

Быля. Злотка, через три дня на примерку, через три дня?

Злота. Через три дня... Пока их нет, переоденься в спальне...

Рахиль. Боже паси... Быля, чтоб ты мне была здорова, лучше на кухне переоденься. Потом Милечка скажет, что мы у него что-то взяли.

Злота. С тех пор, как они здесь живут, моим заказчикам негде переодеваться.

Быля. А где они теперь?

Рахиль. Они пошли в гости к его родителям. К Броне Михайловне и Григорию Хаимовичу. Дурное известие на их обоих: и на Броню Михайловну и на Григория Хаимовича... Плохой сон на них обоих... С тех пор, как была свадьба, уже два года назад, они, может, раза три здесь были...

Быля. Уже два года, уже два... Время летит... Моей Мэ-рочке уже полтора года... Тут как раз Пынчик был из Риги, когда я родила...

Рахиль. Моя Рузя сама виновата. Когда я ее спросила: Рузя, но он тебе нравится, она мне ответила: ничего паренек... На Миля она говорит: ничего паренек... На Миля... Чтоб сейчас, когда он возвращается от своей мамы, пусть поломают обе ноги...

З л о т а. Ах, смотри на эти проклятия... Я была против их свадьба, а теперь я считаю, надо все сделать, чтоб было хорошо. Рузя скоро должна рожать, у ребенка должен быть отец. Мало в нашей семье сирот?

Б ы л я. Злотка, не нервничай, Злотка. *(Уходит на кухню переодеваться. Злота идет за ней, вытирая глаза.)*

Рахиль. Чуть что, она писяет глазами. *(К Сумеру, показывая на Люсю.)* Зато эта у меня тихая сладкая девочка. *(Целует Люсю.)*

С у м е р. Люся — вылитый Капцан из типографии, его не слышно было.

Рахиль. У меня был муж — золото. Так надо было, чтоб его убило на фронт. *(Плачет.)* Если б он был жив, Рузичка никогда б не попала в плохие руки. Он имел бронь, так он сказал: я коммунист, я должен идти на фронт... Ах, Сумер, ты же помнишь, Капцан был хороший, но все годы я, а не он вела дом, я всегда больше зарабатывала. Что он имел — зарплата из типографии.

С у м е р. Давай-ка я пойду. У вас здесь кричат...

Рахиль. Сиди, Сумер, ты ж только что зашел. Я хочу с тобой поговорить *(понижив голос)*. Я при Быле не хочу говорить, будет знать весь город, она же сплетница.

Б ы л я *(заглядывает)*. До свиданья, Рахиль, до свиданья, Сумер.

Рахиль *(Быле)*. Иди здоровая... Привет Йойне...

З л о т а. Она всегда любит наговаривать на людей. Быля очень хорошая, я к ней ничего не имею.

С у м е р *(смеется)*. Как раз попасть к Рухеле в рот...

Рахиль. Беспokoйся про свой рот, беспokoйся... Конечно, мой муж лежит в земле, а она мадам Шнеур. Вся крупа и вся мука, и все жиры, и все, что есть хорошего в лагере военнопленных, так это у них дома.

С у м е р *(смеется)*. Рухеле, ты всегда завидовала чужим деньгам.

Рахиль. Боже паси. Я завидовала только чужому счастью. Так с этим Милей, с этим негодяем меня должно было так поломать.

С у м е р. Мне пора идти. Если ты это мне хотела сказать, так это я уже слышал.

Рахиль. Ах, брат называется. Ни о чем с ним нельзя посоветоваться.

З л о т а. Что-то Вили долго нет, я уже беспокоюсь.

Рахиль. Никуда не денется твое сокровище, не волнуйся. Он еще тебе и мне сегодня даст пару дуль и скажет: дура, заткнись.

С у м е р. Так ты будешь говорить, или я уйду.

Рахиль. Подожди... На прошлой неделе меня вызывают в райком... Ты Комара знаешь, инструктора райкома партии?

С у м е р. Что я не знаю Комара? Он у нас в артели шил себе пальто, так он заказал из хорошего сукна, а заплатил за третий сорт.

Рахиль. Болячки на него, чтоб он лежал парализованный... Так он меня вызывает и говорит мне: товарищ Капцан, у нас есть сведения, что вы получили из Америки от родственников пять посылок... Я ему говорю, товарищ Комар... Он меня перебивает: я не Комар, а Комар, ударение на о. Я про себя думаю, чтоб тебя уже гром ударил. Это я думаю, а говорю: товарищ Комар, я никаких посылок из Америки не получала. Я там никого не имею. Я только имею коммунистическое сердце... Хорошо я ему сказала?

С у м е р *(смеется)*. Почему нет? Ты хорошо сказала...

Рахиль. Я говорю, здесь возле базара живет семья Капцан, но ко мне они никакого отношения не имеют, однофамильцы. Это они, наверно, получили посылки, вы проверьте. И что ты думаешь, это, действительно, так оно и есть. Почта дала в райком неправильные сведения. Фамилию назвала правильно, а имя-отчество перепутала.

Стук в дверь

З л о т а. Это Вили идет, слава Богу.

Рахиль. Ша, Злота, не спеши так. Я всегда боюсь, что она упадет.

З л о т а *(возвращается)*. Это не Виля, это Бронфенмахер.
Рахиль *(тихо)*. Вот ты имеешь гостя в задницу.

Входит Бронфенмахер на костылях.

Бронфенмахер. Добрый вечер.

Рахиль. Ой, когда я вижу его на костылях, я не могу жить. Я ж его знаю с двадцать пятого года, я его отца помню, они тогда жили на Малой Юридике. Хороший был еврей, красивый... Бронфенмахер, дай я помогу тебе сесть. *(Помогает ему, тот осторожно садится, ставит рядом костыли.)*

Бронфенмахер. Ничего... Гурнышт... Это оно есть... Азой идыс... Ну так, когда снимут гипс, я буду хромать... Но плохо тому, кто лежит в земле.

Рахиль. У каждого свое горе... Ты хоть знаешь, на тебя и на Беба, пусть земля ей будет пух, наехала машина, а моя Рузя... Ой, Боже мой... Так она должна была попасть в руки этих Тайберов...

Бронфенмахер. Что я Тайберов не знаю... Это одесские воры... Они перед войной переехали в Бердичев, потому что на отца в Одессе готовилось дело.

Рахиль. Воры хоть должны иметь деньги... Мне говорили, что у них много денег... Где же эти деньги? Раньше они работали на Лысой Горе в воинской части, теперь их оттуда выгнали... Так Миля пошел фотографом на завод "Прогресс", а сделалась реформа, так их деньги стали вообще извините за выражение...

Бронфенмахер. Ничего, пусть развяжут чулок, у них еще должны быть золотые пятерки от Николая... Как тебе нравится, Сумер, у Тайберов нету денег. Не смешите меня... Другое дело, что это большие копеечники.

Рахиль. Ой, если б только копеечники *(плачет)*. Моя дочь не успела...

Бронфенмахер. Ты сама виновата. У меня для Рузи был хороший жених, товарищ моего сына, тоже инженер... Рузя жила бы в Москве.

Рахиль. Кто же знал, Бронфенмахер, что такое полук... Разве человек хочет себе плохо *(плачет)*.

Бронфенмахер. Зачем тебе было спешить с замужеством Рузи?

З л о т а. Рузя вышла замуж в семнадцать лет *(плачет)*.

Бронфенмахер *(к Рахили)*. Тебе самой, Рахиль, надо поспешить.

Рахиль. Мне? Куда мне спешить? Сумасшедший. Я уже свое отспешила *(смеется)*.

Бронфенмахер. Ты слышишь, Сумер, она уже отспешила. Сорок пять — баба ягодка опять.

Рахиль. Мне всего только сорок два *(смеется)*.

Л ю с я *(смеется)*. Мама невеста, мама невеста...

Рахиль *(смеется)*. Они мне не позволяют... Дети...

Бронфенмахер. Вся жизнь строить на детях? Надо жить для себя тоже. Вот у меня в Москве сын, так я вижу, как он любит папу, который инвалид и ничего не может ему дать больше.

Сумер. А кто тебя обслуживает, Бронфенмахер?

Бронфенмахер. Тут одна женщина заходит, она каждый день едет из Семеновки в Бердичев мыть полы. Покупает то, что мне надо... Валя ее зовут.

Рахиль. Если она недорого берет, пришли ее ко мне. У меня сил нет мыть полы, а Рузя сейчас беременная, а Злота больная... Если бы был хороший зять, так он бы был хозяин в доме. А это пустое место. И он недоволен. Я устроила свадьба за свой счет, я им отдала ту комната с мебель, купила новую никелированную кровать, дала радиоприемник, простыни, наволочки. Что у меня было. Так он недоволен. Он хочет, чтобы мы перебрались в маленькая комната, а ему отдали большая *(сгибает локоть, выставляет его перед собой и ударяет себя ладонью по локтю)*. О, фын дым бейн... Из кости он может у меня иметь... И еще он говорит, что ему здесь скучно... Ему здесь скучно... Если ему здесь скучно, пусть полезет Пайдуцеру в задницу...

Сумер *(смеется)*. Люся, ты знаешь, кто такой Пайдуцер? Это был знаменитый еврейский музыкант, он всегда играл веселую музыку.

Рахиль. Бронфенмахер, он кричит, что Рузя дает нам

его деньги *(плачет)*. Чтоб Бог дал ему болячку в лицо... Чтоб Бог дал ему кольку в бока... Чтоб упало дерево и его покалечило... Чтоб наехала машина и разрежала его на кусочки... Я если проклинаю человека, так это еще то проклятие...

Бронфенмахер *(начинает кашлять)*. Я пойду...

Рахиль. Куда ты спешишь, Бронфенмахер? Дай, я тебе помогу подняться.

Бронфенмахер. Ничего, ничего, я сам. *(встает, опираясь на костыли и выходит.)*

Злата *(всплескивает руками)*. В моей жизни...

Рахиль. Злата, что ты плещешь в ладони? Я хотела, так я так сказала... Ты думаешь, я не помню, как два года тому назад он хотел носить через моя кухня помои? Как он подбежал и стучал в стенка, чтоб поломать и сделать на моя кухня своя дверь... Ты думаешь, я не помню?

Сумер *(смеется)*. Но он же пришел, чтоб свататься к тебе...

Рахиль *(смеется)*. Мне нужен этот старый инвалид, чтоб он мне навонял в кровати... *(Стук в дверь.)* Ша, вот они уже идут... Чтоб было тихо, чтоб никто не отзывался...

Входит Миля с упрямым крепким бритым затылком. Стрижен под бокс. Рузя беременная, с большим животом. Оба, ни слова не говоря, проходят через большую комнату к себе и закрывают дверь. Слышно, как они там шепчутся. Злата ставит перед Вилей тарелку и сама садится к столу со своей тарелкой.

Злата *(тихо)*. Виля, хочешь колбасу? *(Берет кусочек колбасы, приставляет к нему нож острой стороной, пальцем упирается на нож сверху и стучит ножом вместе с колбасой по столу.)*

Рахиль *(тихо)*. Ну я этого еще не видела, Сумер... Злата, что ты делаешь? Чтоб рубить колбасу как рубят сахар?

Сумер. Я пойду.

Злата. Сиди, куда ты спешишь? Хочешь колбасу?

Открывается дверь, на пороге появляется Миля, смотрит, как ужинают Злата и Виля.

Миля. Я уже вижу, куда денежки мои идут... На кормление тетушки и племянника.

Рузя *(сердито)*. Закрой дверь! *(Подходит, втаскивает Милю за руку и закрывает дверь.)*

Рахиль. Ну, Сумер, ты слышал?

Миля *(резко открывает дверь)*. Дядя Сумер, вот вы из их семьи, скажите честно, у меня здесь жизнь? В этой комнатке...

Сумер. Он-таки прав.

Миля *(Рахили)*. Вот ваш родной брат со мной согласен.

Рахиль. Что ты говоришь, Сумер? Он прав? Он нас кормит?

Сумер. Когда я служил при Николае, так один солдат сказал на другого, что тот съел его порцию каши... Тогда унтер велел тому сесть на параша и как скомандовал: "Надуйсь!" и тот-таки сделал больше, чем от одной порции каши. *(Смеется.)*

Миля. Ваши семейные анекдотики мне надоели *(кричит)*. Я вам не мальчишка, который учится в седьмом классе... Я вам не мальчишка!

Виля. Заткнись!

Миля *(заходит в комнату)*. Я тебе дам, заткнись, сопляк... Я тебе так дам, что месяц лечиться будешь...

Рузя *(кричит)*. Миля, иди сюда!

Сумер. Дай-ка я уйду. *(Встает и быстро уходит.)*

Миля. Видишь, Рузя, даже их родной брат не выдерживает... В общем, так. Я здесь жить больше не могу... Одевайся, пойдём к моим родителям, будем жить там... *(Гаснет свет.)*

Рахиль. Вот как раз электричество потухло. Это знак, что Рузе никуда не надо идти. Она беременная, куда она пойдет *(выглядывает на улицу)*. На всей улице темно. Злата, где свечи?

Злата. На кухне, за печкой.

Миля. Одевайся, Рузя.

Рахиль *(входит с зажженной свечой)*. Куда она пойдет беременная, в темноту... Ты хочешь, иди...

Миля *(к Рахили)*. Я не с вами разговариваю.

Рахиль. Я с тобой тоже меньше всего хочу говорить...

Рузя, ложись спать, уже поздно.

Миля. Рузя, так я ухожу...

Рузя. Иди, иди *(кричит)*, иди!

Миля молча одевается, проходит через большую комнату и в передней сильно хлопает дверью.

Рахиль. А чтоб ему стучало в голове, как он хлопнул дверь... Давайте ложиться спать, света нету, надо спать... А он пусть идет, но чтоб он туда не дошел и назад не вернулся. Виля, ну-ка положи книгу, у меня нет откуда платить за свечи... Надо спать... Злота, стели... *(Продолжает говорить все время, пока стелится постель.)* Пусть он идет... Ребенка мы сами воспитаем... Когда я спросила на свадьбе: Рузичка, но он тебе нравится? Она говорит: ничего паренек... На Милечку она говорит: ничего паренек... Почему он не сдох до того дня, как я его узнала?

Рузя *(из соседней комнаты)*. Мама, замолчи.

Рахиль. Теперь она говорит, замолчи, а тогда она сказала: ничего паренек... Если б она хорошо училась в техникум... Я б ее так рано не выдала замуж... Но она ж была двоюродница...

Рузя *(кричит из соседней комнаты)*. Мама, замолчи, слышишь!

Рахиль. Что ты кричишь? Я тебя боюсь?

Злота. Рухл, дай спать. Ты ж сама говорила, что пора спать.

Рахиль. Пора спать... Как-будто я могу спать... Ему здесь скучно... Пусть залезет Пайдуцера в задницу...

Рузя *(кричит)*. Мама, замолчи! *(Выбегает босиком в рубашке, садится на пол и начинает бить себя кулаками в беременный живот, кричит.)* Замолчи, замолчи, замолчи! *(Кричит в такт ударам кулаками в живот.)*

Рахиль. Рузя, не бей себя *(слышен звук рвущейся материи)*. Ой, она порвала на мне рубашка! Ой, она порвала

на мне рубашка! Ой, она порвала на мне рубашка! Ой, она порвала на мне рубашка!

В тишине и полумраке ползет занавес

Картина 5-я

В большой комнате опять перестановки. Очевидно, недавно был ремонт. Под потолком новая люстра, железные койки исчезли, нет старого продавленного дивана, в углу трехстворчатое зеркало. Рядом со старым буфетом новый зеркальный шкаф, книжный шкаф, на котором по-прежнему старый гипсовый бюст Ленина. Осень. Там, где был огражденный колючей проволокой пустырь, теперь двухэтажное здание в духе архитектуры 50-х годов, закрывающее перспективу, так что за ним виден только верх водонапорной башни в центре города. Рахиль сидит за столом в очках, перед ней счеты, на которых она перебрасывает костяшки и что-то записывает. Тут же куча накладных. За столом спит Сумер в кепке и синем китайском плаще. Злота примеряет перед зеркалом платье жене полковника Делева.

Злота *(поет)*. Тира-ра-рой, птичечка, пой... Поднимите руку... Не тянет?

Делева. Нет, хорошо.

Рахиль *(снимает очки)*. Товарищ Делева, что ваш муж говорит насчет венгерские события? Все-таки он большой человек, Герой Советского Союза, хоть у него нет один глаз.

Делева. Глаз он под Кенигсбергом потерял.

Рахиль. Ах, чтоб эти контрреволюционеры уже голову потеряли... Я говорю, была такая война, ваш муж потерял глаз, а мой муж потерял жизнь... В нашей семье столько убитых... Так теперь в Венгрии контрреволюционеры должны такое вытворять... И эта Надя, Надя... Там что, женщина — главный враг народа?

Делева *(смеется)*. Имре Надь... Это мужчина.

Рахиль. Мужчина? Что-то у них все наоборот.

Рахиль. Вы говорите, есть много жертв? Я сегодня смотрела газеты, как лежат убитые люди и как нож торчит во рту и рядом разбитый портрет Ленина... Что я не понимаю? Я с 28-го года в партии... И, говорят, среди бердичевских военных есть убитые...

Д е л е в а. Полковника Вшиволдина вчера привезли... Завтра хоронить будут.

Рахиль. Яж его знала, мы виделись на партконференции... Такой человек... Ой, Боже мой, Боже мой... Злата, это ж твоей заказчицы муж...

Злата. Вшиволдина? Ой, я не могу жить... Когда стало немного легче, так опять началась война...

Д е л е в а. Ну, войной это нельзя назвать, скорей контрреволюционный путч.

Рахиль. Как вы сказали? Пуч? А я вам скажу в чем дело (*понижает голос*). Во всем виноват этот кукурузник. Сначала ездили по всему миру эти Хрущев и Булганин, а теперь сидят дома и не знают, что делать.. Сталин никуда не ездил, но у него был порядок. Говорят, культ, культ, а он у меня висит (*показывает на портрет Сталина в кабинете*). Взяли и демобилизовали старых полковников, что они-таки давали польза...

Д е л е в а. Это верно. Наш знакомый полковник Маматюк вполне мог бы еще служить, а его в отставку.

Рахиль. Что я не знаю Маматюка? Товарищ Маматюк теперь на сахарном заводе работает. Его жена всегда со мной здоровадается...

Сумер начинает храпеть.

Злата. Сумер, разденься, ляжь на тахта.

С у м е р (*сквозь сон*). Ай, чепе мех нит... Не трогай меня...

Д е л е в а (*смеется*). Да, есть такие мужчины, я тоже знаю таких...

Рахиль. Нет, он раньше таким не был. Ну я вам скажу, уже годы... Я сама устала... Вот должна дома делать отчет.

Д е л е в а. А сколько вам до пенсии?

Рахиль. Я еще должна поработать четыре года... Как раз моя младшая дочка кончит пединститут. Она в Житомире учится. Отличница... Мы хотели поступать в Винницу в мед... Но не приняли... Ладно... Так она будет учительница, а не доктор...

Д е л е в а. Она замужем?

Рахиль. У нее есть один... Он сам из Житомира. Тут у нее было много женихов, но она никого не хотела (*с улицы вбегают двое мальчишек-подростков и начинают со смехом гоняться друг за другом*). Тут у Люси много было, но она никого не хотела. (*К мальчишкам, кричит*). Марик и Гарик! Это старшей моей дочки Рузички дети.

Д е л е в а. Они близнецы?

Рахиль, (*смеется*). Нет, этот старше... Скажи тете как тебя зовут.

М а р и к (*хохочет*). Звать — разорвать, фамилия — лопнуть.

Рахиль (*смеется*). Это Марик... А тот Гарик... Чтоб мне было за их кости.

Злата. Один второго старше на год.

М а р и к (*запрокидывает голову, закрывает глаза и открывает рот*). Я жертва венгерской контрреволюции (*хохочет*).

Д е л е в а. Как тебе не стыдно, над чем ты смеешься... Ты пионер или комсомолец?

Рахиль (*Марику*). Вот я маме скажу, так она тебя так налупит, что задница красная будет.

М а р и к. А в чем дело?

Г а р и к. В шляпе.

М а р и к. А шляпа?

Г а р и к. На папе...

Рахиль (*смеется*). Ну, бандиты. Что вы скажете, товарищ Делева?

Г а р и к (*толкает Сумера*). Сумер проснись, дай на мороженое.

С у м е р (*просыпается*). Иди к своему папе проси...

Рахиль. Вы уже уроки выучили? Выучите, я вам дам... От папы они дождутся... Я дам... Ты же знаешь, что если баба сказала, так это сказано...

Г а р и к. Я выучил... Часть речи, которая упала с печи и ударилась об пол, называется глагол (*хохочет*).

Рахиль. Я тебе дам такие слова говорить при постороннем человеку.

М а р и к *(Рахили)*. Заткнись, баба... Закрой пасть...
 Рахиль. Я тебе дам — заткнись... Вот так, как я держу руку, так я тебе войду в лицо... Собака такая... Я маме скажу... *(Марик и Гарик убегают)*. Теперешние дети разбалованные, у них все есть. Мои дети, если имели кусок хлеба, так они были рады. Вы ж помните, товарищ Делева, как было после войны. Но мои дети никогда мне плохого слова не сказали. Ни Люся, ни Рузя, и здесь жил у нас племянник, что он теперь на Урал... Никогда плохого слова не сказали... Боже паси!

Сумер *(проснувшись, улыбается)*. Это как раз так, она права...

Рахиль. Вот брат мой подтвердит... Ни Рузя, ни Люся, ни Виля никогда мне плохого слова не сказали.

Делева. Да, теперь дети балованные растут, в роскоши. А дочка с вами живет?

Рахиль. Нет, она живет с родителями мужа, но дети все время здесь. И они тоже часто здесь бывают. Оба они работают на заводе "Прогресс", так им на обед далеко идти домой. Так они варят обед здесь и на перерыв приходят сюда. Что мать не сделает ради своего ребенка? Вот Миля скоро должен придти сюда обедать, у них на заводе в час начинается перерыв.

Делева *(смотрит на часы)*. Ой, уже скоро час, мне пора... Когда на примерку, Злота Абрамовна?

Злота. Через три дня, *(Провожает Делеву, та переодевается в соседней комнате и уходит.)*

Рахиль *(одевает очки и считает, потом снимает очки, говорит тихо)*. А как тебе нравится Виля?

Сумер. Где он сейчас?

Рахиль. Где-то Нижний Тагил. Ай, он никогда человеком не был. Но нельзя сказать, Злота кричит... Да, кончил, так работай, женись... Нет, он бросил работа... По-моему, он вообще не работает, где-то ездит... Ой, боже мой, что мне про него думать, у меня есть свои дети... Но Злота переживает... Она такая больная, послала ему посылку.

Злота *(входит из кухни, кричит)*. Думаешь, я глухая?

Сумер, она рвет от меня куски... А ты своим детям не посылаешь, что они устроены и в тепле... Ты Люсе посылаешь каждую неделю, а я Виле тоже pošлю, когда смогу... А Рузе ты не даешь? Ты ей дала мебель и купила ковер, и кормишь ее детей, а я за ними убираю и варю Рузин обед...

Рахиль. Злота, чтоб ты таки стала немая и глухая, как ты кричишь.

Злота *(Рахили)*. Чтоб тебе самой рот набок вывернуло, если ты на Вилю плохо говоришь. *(Плачет.)* Люди еще лопнут, когда посмотрят на него... Он будет большой человек.

Рахиль. Да, большой человек он будет... Пусть он хотя бы женился и имел собственную крышу *(плачет)*.

Злота. Когда он прошлый год приехал такой худой и бледный, как мертвец, я неделю плакала *(плачет)*. Ой, там Рузин суп кипит.

Рахиль *(Злоте)*. Сиди, я сама посмотрю... Слышишь, Сумер, мы еще должны варить Миле обед и убирать за ним, за этот подлец... Ему далеко от работы ехать домой, что ты скажешь... Миле далеко, он на диете... Сытит им взй дер бух... Ему живот болит... Сейчас я посмотрю суп, и я тебе расскажу про Милю, так ты будешь смеяться. *(Уходит на кухню.)*

Злота *(Сумеру тихо)*. Она рвет от меня куски... Чтоб я не посылала Виле посылки... Что я ему посылаю? Немного перетопленного сала, коржики... Ему так плохо *(плачет)*.

Сумер. Ай, что ты Рухеле не знаешь?

Рахиль *(возвращается из кухни)*. Слышишь, Сумер, Миля прошлой зимой ехал в Кисловодск лечить живот. Так он там жил в одной комнате с несколькими гоем. Так ночью, чтоб не выходить на холод, он себе имел бутылочку и он туда писял... Эр от гепышт ин дым флешеле... *(Смеется)*. Ты ж понимаешь, Сумер, гоем любят, когда при них писяют в бутылочку... Он думает, что это он здесь садился на ведро, так можно было задохнуться...

Злота *(смеется)*. Но он и Рахиль друг друга ненавидят.

Рахиль *(смеется)*. Так когда эти гоем увидели, что он писяет в бутылочку, они взяли его вещи и выбросили их на

улицу... Так он быстро приехал назад... Но почему он не по-
пал под паровоз, когда он ехал назад...

З л о т а. Зачем ты так говоришь? Он отец двух детей...

Рахиль. Отец... Хороший отец... Храбрец большой... Ты знаешь, что он подал заявление, чтоб ехать как доброволец воевать против Израиль... Он же знает, что его не возьмут, так он подал, чтоб заслужить авторитет... Хороший коммунистический доброволец с язвой желудка.

С у м е р. А что, принимают такие заявления? Куда же он подал?

Рахиль. В военкомат, как офицер запас... Ты, Сумер, как будто на небе живешь... Ты что не читаешь... Ты что, не читаешь газеты, что сейчас делается в Венгрии, какая там контрреволюция... Так надо, чтоб евреи тоже выступили... Эти сионисты... Иделе-как... Так был митинг на завод "Прогресс" два дня назад, и молодежь, комсомольцы, коммунисты начали подавать заявления, чтоб ехать добровольно защищать Египет от сионистов... Это не только в Бердичеве, это по всему Союзу, так Миля тоже подал заявление. Ой, Рузя переживает, она так плачет. А я ей говорю, кто его возьмет, кому он нужен? Когда была та война, так он был на Урале... Мой муж таки погиб на фронт, а он был на Урале. Я говорю, Рузя, что ты волнуешься про Милю, он никуда не поедет. Туда, где стреляют, он не идет.

З л о т а. Ой, Сумер, ты знал Вшиволдина? Его жена была моя заказчица.

Рахиль (*перебивает*). Так его убили в Венгрии... Сыцицы им гоешер шейгец ын от им дараргет... Подбежал в Будапеште гоешер пацан, его убил... Как тебе это нравится... А я слышала, за то, что евреи напали на Египет, арабы в Израиль устроили такие погромы на евреев, что дым шел... А я рада... Гит... Пусть сидят тихо... Иделе-как...

С у м е р. Ой, Рухеле, ди быст клиг зейве ман бобес циг... Ты умная, как моей бабушки коза...

Вбегают Марик и Гарик.

Гарик. Сумер, дай три рубля на мороженое.

Сумер. Я тебе уже давал... Теперь я дам Марику.

Сумер достаёт мешок килограмма на два, в котором хозяйки держат крупу, и вытаскивает из битком набитого мешка пачки денег, даёт три рубля Марику.

Рахиль. Сумер, что это за мешок с деньгами у тебя?

Сумер (*смеется*). Ты что, не видела мешок с деньгами, ты думаешь, что это мои? Это из артели выручка. Но когда я его беру домой, так я его должен прятать... Если Зина хочет идти на базар и видит у меня этот мешок, так она берет туда руку и сколько денег может набрать в кулак, столько берет.

Марик (*смеется*). Чем торгуешь?

Гарик (*смеется*). Мокрым рисом.

Марик. Чем страдаешь?

Гарик. Сифилисом.

Рахиль. Вот как я держу руку, так я обоим войду в лицо.

Марик. На... (*даёт Рахили дулю*).

Рахиль. Чтоб тебе рука отсохла...

З л о т а. Смотри на эти проклятия... Баба так может проклинать своих внуков?

Рахиль. Хорошие внуки... Милечкины дети... Детей надо иметь? Камни надо иметь.

Гарик. Баба, закрой пасть...

Рахиль. Подожди, я маме скажу, она вам морду побьет.

З л о т а. Ой, я не могу видеть, когда Рузя их начинает бить.

Рахиль. Подожди, я маме скажу.

Гарик. Баба, заткнись...

Марик. А в чем дело?

Гарик. В шляпе.

Марик. А шляпа?

Гарик. На папе.

Марик. А папа?

Га р и к. На маме.

Ра х и л ь. Ах ты, сволочь, какие слова говоришь... Я тебе дам мама на папа...

Ма р и к *(хохочет)*. А мама?

Га р и к *(хохочет)*. На диване.

Ма р и к. А диван?

Га р и к. В магазине.

Ра х и л ь. Уйди, чтоб тебе не видать.

Ма р и к. А магазин?

Га р и к. В Берлине.

З л о т а *(Гарику)*. Марик, не прыгай в лицо.

Га р и к *(хохочет)*. Я Гарик, а ты Злота, заткнись.

Ма р и к. А Берлин?

Га р и к. В Европе.

Ма р и к. А Европа?

Ра х и л ь *(встает)*. Уйди, чтоб тебе не видать...

Гарик и Марик, хохоча, бегают вокруг стола.

Га р и к *(кричит, хохочет)*. А Европа в жо... в жо... Жолудь зеленый...

Ма р и к *(поет, бегают вокруг стола)*. Я сегодня был в садок, соловей мне сел на бок, я хотел его поймать, он удрал к Бениной матери...

Ра х и л ь. Ну, что ты скажешь, Сумер? *(Смеется.)* Одесские воры... Этот младший типичный зейделе... Это дедушка, Григорий Хаимович... А это Милечка с костями... Это отец... Милечка...

Ма р и к. Заткнись!

Га р и к. Закрой пасть... *(Убегают.)*

Ра х и л ь. Ну что ты скажешь, Сумер? Потом Рузя имеет ко мне претензии, что они здесь во дворе учатся от хулиганов. У нас таки жуткий двор. Тут есть Колька Дрыбчик и Витька Лаундя, как тебе нравятся эти имена? Так сколько есть тюрем, они уже в них были... А тут внизу есть Стаська, полячка, так она ночует теперь на чердаке... И соседи имеют ко мне претензии, что я ее пускаю на чердак... Как я ее не

пущу? Чтоб она мне разбила окна. Вызовите участкового и не пускайте ее сами.

З л о т а. Ой, эта Стаська мне так жалко.

Ра х и л ь. Отц а клоц... Ей жалко... Эта Стаська завербовалась на Донбасс, получила подъемные и уехала. Так в ее комнату поселили другую семью. А теперь она приехала, она удрала оттуда, но комнаты нету. Так она ночует на чердаке. Когда холодно, так она лежит возле труб.

С у м е р. Что мне эта Стаська? Ты лучше про Люсю расскажи. Она таки выходит замуж?

З л о т а. Я скажу... Я Доня с правдой... Рахиль ее держала возле себя, а всех, с кем она ходила, выгоняла.

Ра х и л ь. А что ж, мне нужен второй Милечка?

З л о т а. А теперь Люся поехала учиться в Житомир и сразу там познакомилась с парень.

Ра х и л ь. Его фамилия Лейбензон... Петя Лейбензон. На Октябрьские они уже должны были расписаться. Так Рузя сказала...

З л о т а. Какая Рузя?

Ра х и л ь. То есть Люся... Так Люся сказала, что она не хочет брать фамилию Лейбензон, она хочет быть Капцан. Тогда Петя говорит, если тебе не нравится моя фамилия, так значит я тебе тоже не нравлюсь. В общем, они поругались. А теперь они уже опять помирились.

С у м е р. Но он тебе нравится?

Ра х и л ь. Ой, кто может знать. Так ничего парень, но он некрасивый... Большой нос...

З л о т а. Я не люблю, когда так говорят... Он тебе должен нравиться? Он должен нравиться Люсе.

С у м е р. А какая у него специальность?

Ра х и л ь. Он по истории... Кончил во Львов университет... Но пока работает физкультурником по баскетбол... Ты ж понимаешь, а ид... Еврей, так он не может устроиться по истории...

З л о т а *(возле окна)*. Вот Миля уже идет на обед с каким-то товарищ.

С у м е р *(встает)*. Я ухожу. Я не хочу его видеть... Я к

нему ничего не имею. Он обыкновенный солдат по характеру... Простой солдат. Он должен кушать кашу из котелка, а ты ему варишь куриный суп.

Рахиль. Что ты скажешь, Сумер? Мало того, что мы его должны обслуживать, так он еще товарища ведет. Отраву чтоб он ел, чтоб его вырвало кровью...

Злота. Ах, Боже мой. Боже мой, что ты его так проклинаешь. Он нехороший, но он отец двух детей.

Рахиль. Давай-ка я тоже выйду, мне надо вынести ведро.

Злота. Рухл, убери свои бумаги со стола. Мне ведь надо им дать обед *(одевает передник)*.

Рахиль *(убирает бумаги и счета)*. Я б ему дала обедать помои. Чтоб его уже черви ели.

Уходит с Сумером. Злота суетится на кухне, гремит посудой. Входит Миля. Он несколько постарел, но по-прежнему стрижен под бокс. Молча проходит мимо Злоты, не поздоровавшись, ставит на стол бутылку водки, две банки овощных консервов, колбасу. Злота осторожно переступает вывернутыми от плоскостопия ногами, держа обеими руками полную тарелку супа, ставит этот суп перед Милей.

Миля *(сердито глядя на Злоту)*. Вы мне обед не подавайте. Я сам себе возьму. Мне противно, когда вы мне подаёте. У вас всегда пальцы в супе вымазаны.

Хватает тарелку супа и уносит ее назад на кухню. Злота молча поднимает руки к голове и торопливо уходит к себе в комнату.

Миля *(открывает балконную дверь, кричит)*. Толик, сюда... Во двор и на второй этаж по деревянной лестнице... Ну, хорошо, я тебя встречу. *(Уходит. Приходит Рахиль, гремя пустым ведром.)*

Рахиль. Он привел сюда какого-то пьяницу, я его видела во дворе, возле туалета. Я Рузе скажу. Привести в дом пьяницу...

Злота. Бог чтоб спас. Ты хочешь крики. Мне Миля сказал: вы мне не подавайте, мне противно, когда вы мне подаёте.

Рахиль. Болячка ему в лицо. Я Рузе скажу.

Злота. Ты хочешь, чтоб тут было убийство... Я тебя прошу ша, вот они идут... Давай немного выйдем на балкон, я сейчас одену платок.

Входит Миля, ведя за плечи выпившего мужчину спортивного вида.

Миля. Толя, ты легко нашел?

Толя. Туалет? Запросто. Только он у вас весь в поносе. *(Хохочет)*. Анекдот слышал: один пьяный спрашивает у другого пьяного — почему у тебя журчит, а у меня нет? Тот отвечает — потому что ты писяешь на панель, а я на твою шинель *(Хохочет. Видит Рахиль и Злоту, которые проходят на балкон.)* Здравсьте, девушки.

Миля *(тихо)*. Не обращай внимания... Две обезьяны...

Толя. Хороший был митинг на заводе против израильской агрессии... Макзаник хорошо выступил из отдела технической информации.

Миля. Борис? Это из нашего отдела. Я не знаю, почему над ним смеются, почему говорят, что он сумасшедший. Этот город, одни сплетники. Беркоград.

Толя. Беркоград. *(Смеется, разливает водку.)* А приятно, когда еврей все-таки за Советскую власть... В защиту Египта. Макзаник хорошо выступил. Я, говорит, советский гражданин, готов плечом к плечу со своим арабским братом... Хорошо... Ну, пошли... *(Чокаются, выпивают.)*

Миля. Над этим Макзаником в городе все время смеются. Сами идиоты, а смеются над хорошим парнем. Кричат ему: Пушкин, Пушкин... Ну и что, если он пишет стихи? У него-таки есть неплохие стихи. Вот сегодняшняя многотиражка "Прогрессовец". Смотри, карикатуры и стихи Макзаника к ним... "От священных основ ленинизма рушатся стены капитализма. От пролетариата всего мира мечутся в тисках железных банкиры..." Смотри, молотом по шляпе *(хохочет)*, клещами за горло.

Толя. Это кабачковая икра?

Миля. Хорошая икра.

Толя. Я раньше за команду житомирского "Динамо" играл, левым крайком. Крепко я по краю тянул. А потом нас вместо черной икры начали кабачковой кормить. Я говорю: какая икра, такая игра (*хохочет*). Выпьем...

Чокаются, выпивают. Толя целует Милю. С балкона в свою комнату проходят Рахиль и Злота.

Рахиль (*Злоте, тихо*). А гой, а хозер...

Толя. Миша, что она сказала?

Миля. Не обращай внимания.

Толя. Она меня выругала. Что такое гой, я понимаю. Сказать на русского гой, все равно, что сказать на еврея жид... Нехорошо так, мамаша, у нас все нации равные.

Миля. Не обращай внимания на этих старух, они уже отжили свое.

Рахиль (*из соседней комнаты*). Я еще тебя переживу.

Злота. Рухл, ша...

Толя (*смеется*). А мне нравится, боевая мамаша... А вот ты мне скажи, что товарищ Дзержинский чекистам советовал?

Миля. Что? Быть преданным своей родине.

Толя. Быть преданным родине... Что это пионеры или школьники, чтоб им детские советы давать? Товарищ Дзержинский чекистам советовал: берегите нервы... берегите нервы... Я когда за житомирское "Динамо" играл, наш тренер всегда перед игрой нам говорил: что товарищ Дзержинский чекистам советовал? Берегите нервы... Но ты не обижайся, ты молодец, записался добровольцем...

Рахиль (*из соседней комнаты*). Хороший доброволец... Туда, где стреляют, он не идет...

Злота. Рухл, ша...

Толя (*целует Милю*). Молодец...

Рахиль. Ман тухес ин дер мытен... Моя задница посередине...

Толя (*жует колбасу*). И Макзаник хорошо сказал... Плечом к плечу...

Миля. Стихи он хорошие на митинге прочитал, свои

стихи из многотиражки... Здорово он написал о палестинском мальчике, в сердце которого целит сионистский штык... Я, Борис Макзаник, прикрою тебя, мальчик...

Толя. Он прикроет... Мы пахали, но плуга не видали, мы стояли на подножке и толкали паровоз... Борис Макзаник прикроет... Русский солдат, вот кто прикроет... Что Суворов говорил? Где олень не пройдет, там русский солдат пройдет. Кто Европу от Гитлера прикрыл? А какая нам благодарность... Венгерская контрреволюция голову подняла... Мне друг рассказывал... Подъехали на танке — выходи... Стреляют... Дали раз из пушки — вышли... Мал-мала-меньше, пацанва... Эх, правильно маршал Жуков говорил: закрасить все страны народной демократии в красный цвет.

Миля. Ничего. Есть Киевский обком партии, есть Житомирский обком, есть, к примеру, Новосибирский обком... Когда-нибудь еще будет существовать Палестинский обком партии.

Толя. Во главе с товарищем Тайбером... Твоя фамилия Тайбер? Миша, ты только не обижайся...

Миля. Я не обижаюсь... Найдется поумней меня человек в Палестинский обком.

Толя. Миша, я тебе честно по-русски сказал: выступил ты правильно, а стихи — дерьмо...

Миля. Так это ж не мои стихи, это стихи Макзаника Бориса.

Толя (*хохочет*). Писать на стенах туалетов, увы, мой друг, немудрено, Среди дерьма мы все поэты, среди поэтов мы дерьмо... (*Хохочет*). Вот я тебе лучше про Хас-Булата прочитаю... Или спою... Вот это толковые стихи (*начинает петь*): Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя... (*Замолкает, сидит некоторое время молча.*) А дальше как? Ты не знаешь, Миша?

Миля. Нет...

Толя. Как же так, я ведь вчера эту песню весь вечер пел...

Миля. Толя, ты не расстраивайся, я тебе другую песню спою (*начинает петь*):

Когда немцы на Бердичев наступали,
В Биробиджане был переворот,
И жиды с чемоданами бежали,
И кричали: "За родину, вперед!" (Смеется.)

Рахиль (из соседней комнаты). Ды цейн зол дир аройс...
Чтоб тебе зубы выскочили...

З л о т а. Рухл, ша...

Толя. Мамаша опять нас ругает... Может, пойдем?

Миля. Сиди, сиди, не обращай внимания, я тебе сейчас мясо принесу... (Уходит и возвращается с мясом.)

Толя. Свинина? Ничего. Но я больше вареную свинину люблю... Как говорил один знакомый белорус: сварыл. Сало обрззал и в холодильник.

Миля. Я тоже сало люблю, но мне нельзя.

Толя. Брось, плюнь на докторов (поет). Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов...

Миля (подхватывает). Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров...

Толя. Чуть приморозит, пойдем на реку. Я тут секцию моржей организую, купанье в ледяной воде. Лучше любого курорта, про все болезни забудешь.

Миля. Да, эти курорты... Я в прошлом году был в Кисловодске, так я оттуда раньше срока убежал.

Рахиль (из соседней комнаты). Конечно... Аз мы пышт ин флешеле, ыз а гитер курорт... Если писяешь в бутылочку, так хороший курорт (смеется).

З л о т а. Рухл, ша...

Миля. Что-то Рузя задерживается... Рузя должна прийти...

Толя. Ладно, пора уже... Мне что-то опять хочется (хочет.)

Миля. Проводить тебя?

Толя. Сам найду... Я тебе только по секрету... (громко говорит на ухо, почти кричит на ухо); скоро Израилю крышка, поставят со всех сторон "катушки"... Понял? Все самолеты, которые им американцы дали, уже сбиты... Там новые летают... И их собьем...

Миля. Ну, ты, Толя, иди. Я тебя сейчас догоню.

Толя (встает, шатаясь, идет и поет). В огонь и дым стальным ударом, грозой зовут тебя недаром. Я брюки хочу купить... Третий рост, шестое место... (Выходит).

Миля (поворачивается в сторону соседней комнаты). Что вы все время говорите: гой, гой. Вам же не нравится, когда вас зовут жид. Что ж вы других зовете гой? Он вам правильно сказал: все нации одинаковы. Главное, какой человек.

Рахиль. Что ты меня учишь политику партии в национальный вопрос. Я член партии с 28-го года.

Миля. Гнать надо таких из партии.

Рахиль. Таких, как ты, надо гнать. У тебя стаж три года, ты еще в яслях. А ну-ка, зайдем в горком к Свиначу, кого больше уважают? Ты думаешь, если ты выступил сегодня на митинге против сионистов, так ты уже большой человек. Мы, старые коммунисты, еще 25 — 30 лет назад боролись против сионизм...

З л о т а. Рухл, ша... Я тебя прошу...

Толя (с улицы). Миша! Миша! (Поет.) Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня. Самая нелепая ошибка, то, что ты уходишь от меня.

Рахиль. Вот иди, тебя твой пьяница зовет.

Миля. Это не ваше дело. Вы не стоите мизинца этого человека... Старая карга...

Рахиль. Чтоб ты не дожил до моих лет... Ну, до моих лет тебе десять лет осталось. Ты ведь уже старый...

Толя (с улицы. Поет.) Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная червонцев и рублей. Самая нелепая ошибка то, что ты по паспорту еврей. (Хочет. Кричит.) Мишка, давай быстрее...

Миля (Рахили). Не хочется с вами заводиться (быстро уходит, хлопая дверью).

Рахиль. А чтоб тебе ударило в голове, как ты бросил дверь... Он думает, что это ему 47-й год, когда он бросил Рузя, беременная Мариком... Поэтому Марик такой прибли-

тый... Злота, ты помнишь, как Рузя себя била кулаками в живот? Она Марика прибила в животе...

З л о т а (*смотрит в окно*). Ша, вот они идут назад, зайдем-ка к себе.

Рахиль. Опять мыт дым гой?

З л о т а. Нет, гоя не видно... Только Миля и Рузя...

Входит Рузя и ведет Милю, который держится обеими руками за глаз.

Р у з я. Сволочь, этот Толя, ударил Милю в глаз... Сядь (*кричит*). Пусти руки, надо посмотреть, может кровоизлияние... Надо в поликлинику...

М и л я (*морщится от боли, кричит*). Лучше намочи быстрее в холодную воду полотенце.

Р у з я (Рахили) Я иду, я вижу, этот Толя, этот алкоголик, лежит на земле, а Миля его поднимает. Зачем он тебе был нужен? Зачем ты его поднимал?

М и л я. Зачем, зачем... Я его поднимал, чтоб он не лежал на сырой земле... Можно быть умным... Раз он со мной пришел, значит, я за него отвечаю... Пусть он будет свиньей...

Р у з я. Пусть бы он сдох там, зачем ты его поднимал? Он его поднимает, а тот не хочет подниматься... Тогда Миля его силой хотел поднять, а он вдруг при мне ударил Милю в глаз... Чтоб этому гою рука отсохла...

Рахиль. Ну что же я могу сделать... Бывает...

М и л я (*кричит Рузе*). С кем ты разговариваешь? Кому ты рассказываешь? Почему мы вообще ходим сюда, почему здесь торчат дети? Что у нас дома нет? Чтоб они больше сюда не смели ходить, в этот хулиганский двор к Дрыбчикам и Лаундям...

Рузя. Миля, не кричи...

М и л я. Не кричи... Ты намочишь полотенце или я ослепну...

Рузя уходит на кухню. Вбегает Гари к, за ним гонится Марик.

Р у з я (*с мокрым полотенцем в руках*). Что? Что такое... Марик, Марик. (*Марик догоняет Гарику и ударяет его. Гарик плачет.*)

З л о т а. Ах, боже мой, я не могу жить...

Р у з я. Ты чего его бьешь? (*Ударяет Марика, Марик плачет.*)

З л о т а. Боже мой...

Рахиль. Злота, ша...

М а р и к (*плачет, Гарику*). Я тебя убью!

Г а р и к. Козел... Казлык...

Р у з я (*Гарику*). Ты чего его дразнишь? (*Ударяет Гарику, тот плачет,*) Это из-за тебя все дети Марика дразнят. Ты его назвал козел и вся улица его зовет козел.

М а р и к (*плачет*). Я его сейчас убью!

Р у з я (*не пускает Марика к Гарику*). Тише, Марик... Замолчи, Гарик... Вы что, не видите, что папа заболел... Папа упал, ударился...

М и л я (*держит полотенце у глаза*). Вот я сейчас обоим так дам, что их надо будет водой отливать... Почему вы сюда ходите? У вас своего дома нет? Я вам запрещаю сюда ходить...

Р а х и л ь. Я их не заставляю. Наверное, им здесь больше нравится.

М и л я. Больше нравится... Они здесь окончательно распустились... Ну-ка, немедленно домой.

Р а х и л ь. Пусть идут... Тому, кому тесно, тот уходит... Баба с воза, коням легче..

М и л я. Ты идешь, Рузя? Марик и Гарик, ну-ка, домой... (*Выходят с детьми*).

Р у з я (*Рахили*). Мама, что ты ехидничаешь? Что ты радуешься чужому горю?

Р а х и л ь. Зачем мне думать про чужое горе, у меня свое есть...

Р у з я. Мама, ты всегда была людоед... (*Выходит, сильно хлопнув дверью.*)

Р а х и л ь. В голове чтоб тебе стучало, как ты бросила дверь...

З л о т а. Ах, боже мой, разве так говорят на свою дочку?

Рахиль. Дочка... Хорошая дочка... Когда я ее на свадьбе спросила, ну, Рузя, он тебе нравится? Она ответила: ничего паренек... Ничего паренек... Миля ничего паренек... Угробила свою жизнь и мою жизнь... Я людоед... Пусть я буду людоед. Они ж хотели жить у его мамы, пусть там живут. Мне сейчас меньше всего надо про них думать, мне надо про Люсю думать, она студентка... Да... *(подходит к столу.)* Набросали и убирай за ними... Я людоед... Рузя наверно думает, что это 47-й год, когда она порвала на мне рубашку. Но этот гой стоит миллионы. *(Смеется.)* Чтоб этому Толе никогда рука не болела за то, что он Миле вошел в лицо...

Занавес

(Окончание в следующем номере)

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 г о д издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*

Семен ЛИПКИН

ПОЕЗДКА В ЯСНЮЮ ПОЛЯНУ

1

Машины грузовые, легковые,
И в клетках шахматных, и цвета беж,
Бегут стариннейшим путем России,
Где желтых мурз стояли часовые,
Где Гитлера недавно был рубеж.
Сейчас — порядок. В суть твою вникая,
Внимательна милиция родная:
Катись, пожалуй, хоть в Бахчисарай,
Лишь правила движенья соблюдай.

2

Иной водитель есть руководитель.
Начальник треста, депутат с душой,
Лауреат, — он обогнать любитель
Полуторку на скорости большой,
Когда он едет в Крым с чужой женой.
К машине с мелким углем, без опаски,

Притерся инвалид войны в коляске.
В трехтонке под брезентом — свой уют:
Два парня, двадцать девушек поют.

3

Районный центр. Сегодня воскресенье,
Большой базар. Шум, солнце, грязь вокруг.
Стоит невестой церковь. Объявленье
Гласит: "Запрещена торговля с рук
И на земле". И ты в недоуменьи:
Кто этот Бог, с гордыней на челе,
Торговлю запретивший на земле?
При том на той, — туляк ли ты, орловец, —
Где пахарю предшествовал торговец?

4

Мой край, тебя люблю я, как отца,
Люблю твои глаза — осколки неба,
Морщины загорелого лица,
Что мило и темно, как корка хлеба.
— Ну, — думал, — план такой, что нет конца!
А смотришь, с государством рассчитался.
Конечно, без копейки ты остался,
Но все-таки свинью привез, гуся,
На них теперь твоя надежда вся.

5

Задумчив гусь, печален, белокожий,
Он озирает тех, кто съест его.
Свинья, полуприкрытая рогожей,
Уже не ждет от мира ничего.
Мой друг, и мы с тобой на них похожи:
Вытягивая шею, словно гусь,
Ты пыжишься: во всем я разберусь!

Я — тупо жду назначенного часа...
Живи, как я, гусиное ты мясо!

6

А мяса много. Рдеют на столах
Огузок, оковалок. Наготове
Топор. Наверно, возле древних плах
Не больше было теплой, терпкой крови.
Как странно смотрят головы коровьи,
Какой живой, чуть пьяный, томный взор.
В нем только любопытство, не укор.
Сказал поэт: так сверху смотрят души,
Когда, свежая, потрошат их туши.

7

Где видел я такие же глаза,
Что блещут вопросительно-покорно?
Вдруг, заглушив базара голоса,
Сжигает сердце черная гроза:
Да это же мои глаза, бесспорно,
Моя отрубленная голова
Глядит, полужива, полумертва,
На жадных жен районного начальства,
И слышит крик, и смех, и зубоскальство.

8

Пить, пить, машине захотелось пить,
И нам с тобой. Заправочная рядом
Нас привлекает розовым фасадом
И надписью "Буфет". Как поступить?
Бензин и пиво надобно купить.
Тут крикнул некто в кителе брезгливо."
"Зачем евреям отпускаешь пиво?"
Буфетчица сердита, но добра:
"Уж как напьются эти шофера..."

9

Все хорошо. И пусть машина мчится, —
Событие спокойно объясним.
А в небе что-то щелкает, струится...
Кто ты такая, серенькая птица?
Хочу я знать, каков твой псевдоним?
И я пою, когда приходят сроки.
Ведь это я провел по небу строки
Горячих телеграфных проводов,
Где ты звенишь на тысячу ладов.

10

Трава лугов, весеннее кипенье
Еще вчера застенчивых берез,
Птиц и гармоник молодое пенье,
Цвести, любить земное нетерпенье
Не трогают, а мучают до слез.
Облит простор вечернею зарею,
Что пышет углем над Косой Горою:
В одно слились горящий небосвод
И пламя извергающий завод.

11

Мы проезжаем каменные башни
И сразу попадаем в рай земной,
Где липы встали сомкнутой стеной,
Где нежно меж берез темнеют пашни,
Где каждый дуб — как богатырь лесной,
Где каждый лист поет, грустит, ликует,
Где правды каждый червячок взыскует,
Где кажется: на каждой из дорог
Нам встретится их сотворивший Бог.

12

Как странно чувство, будто нам знакомо,
 Давно знакомо все: вот этот дуб —
 Он детства друг, его мы знали дома,
 Он слушал в час душевного подъема
 Слова, срывавшиеся с жарких губ.
 С березкою, цветущей на развилке,
 Мы книги вслух читали при коптилке,
 А на дворе была пальба слышна:
 В то время шла гражданская война.

13

А вот он, холмик, на краю оврага
 В лесу огромной, чудной вышины.
 Внизу едва-едва лепечет влага,
 На стрелке буквы: "Зона тишины".
 Верхи деревьев солнцем зажжены,
 И ветер язычки листов колышет,
 А он под хвоей ничего не слышит,
 Он удален от собственной судьбы,
 Бессленно стерегут его дубы.

14

И кажется: его в тиши дремучей
 Благоговейный оцепил покой
 Незримой проволокою колючей.
 Иль сам от боли он ушел людской,
 От истины мучительной и жгучей?
 И все, к нему пришедшие, молчат,
 Как будто он всего лишь экспонат.
 Нет, люди мы, должны друг друга слушать,
 Мы зону тишины должны разрушить.

15

Я говорю: — Как смеешь ты лежать
 Под стражею Ученого Совета?
 Я говорю: — Как смеешь ты молчать,
 Когда я кровью сердца жду ответа?
 Как смеет здесь рождаться благодать,
 Когда окружена твоя ограда
 Кругами концентрического ада?
 Войди в наш круг, где благо служит злу,
 И вместе с нами превратись в золу!

16

— Кто ты такой? Откуда ты? Не знаю
 Тебя! — под хвоей шепчет исполин.
 Но голову к могиле я склоняю:
 — Я мучаюсь, грешу и проклинаяю.
 Ты хочешь знать, кто я такой? Твой сын.
 Я человек, я раб, я твой наследник,
 Я уничтожу этот заповедник,
 И вновь ты все круги пройдешь со мной
 Тоски, надежды, слабости земной.

Июль, 1952.



А. ВОЛОХОНСКИЙ

КРИТСКИЕ ВЫМЫСЛЫ

Дедал парил по небу
Икар сидел внизу
Дедал там прежде не был
Икар доил козу

Дедал кричит скорее
А то я рассержусь
Скажи — по небу рея
Как я тебе кажусь?

Икар на четвереньках
Поднявши вверх тузы
Помедливши маленько
Сказал из-под козы:

Он так сказал: Папаша
Ты ах как высоко
А дома стынет каша
И киснет молоко

КРИТСКИЕ ВЫМЫСЛЫ

109

Тебе-то хорошо там
Всю птицу ощипав
Рулить своим полетом
Ни разу не упав

А дома разорение
Как дым летает пух
Поет как привидение
Морщинистый петух

А одадь за околицей
Гусак идет нагой
То о лопух уколется
То топает ногой

Его гусыня голая
Бесчувственная тварь
Гуляет развеселая
Красна как киноварь

А деткам какво их
Спод век незрелых ок
Родителей обоих
Вдруг видеть без порток?

Всеобщее распутство
И шаткость в жизни сей
Вот плод летать искусства
И всех твоих затей

Дедал сказал снижаясь:
Сыночек мой сынок
Душа моя сжимается
Совсем как пузырек

Чем больше я летаю
Тем больше я хочу

Желание питаю
Плевать на эту чушь

И так развеса уши
Повис вверху Дедал
Икар его послушал
Ни слова не сказал

Ни слова — ни словечка
Козу свою доя
Под вымечко овечки
Усмешку затая

ФЕНИКС

Горит ли кость на пепелище
Иль тлеет свежее бревно
Или вообще огню нет пищи —
Ей это право все равно.

Она летит теперь наверно
Летит куда-нибудь туда
Где здешнее недостоверно
Как еле слышная дуда

Меж вечных лун рогами новых
Ей не узнать знакомых форм
Кружится воздух бестолковый
И комары уж ей не корм

Сменяют дни рассвет рассветом
И что ни день — другие щи
Сгорела птичка — больше нету
Теперь ищи ее свищи.

ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ

КРУТОЙ МАРШРУТ (2-й том)

В ЛИТЕРАТУРЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ТЕМЕ "АРХИПЕЛАГА", ДО КНИГИ А. СОЛЖЕНИЦЫНА "КРУТОМУ МАРШРУТУ" ЕВГЕНИИ ГИНЗБУРГ ПРИНАДЛЕЖАЛО ПЕРВОЕ МЕСТО. НО В ПЕРВОМ ТОМЕ, ВЫШЕДШЕМ НА ЗАПАДЕ В 1967 ГОДУ, КОГДА ЕЩЕ МЕРЕЩИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИЗДАНИЯ В СССР, ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ СКАЗАЛА ВСЮ ПРАВДУ О ЛАГЕРЯХ, НО НЕ ВСЮ ПРАВДУ О СЕБЕ...

ВТОРОЙ ТОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ АВТОРА. ОН НЕ ТОЛЬКО ПРОДОЛЖАЕТ ЖУТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕВЕРНЫХ ЖЕНСКИХ ЛАГЕРЕЙ И ССЫЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ, НО РАССКАЗЫВАЕТ О ВНУТРЕННЕМ МАРШРУТЕ, О ПОСТЕПЕННОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ, О ПОСТЕПЕННОМ ВОСХОЖДЕНИИ К ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКЕ И ИСТИНЕ.

МАГАЗИН РУССКОЙ КНИГИ

LESEDATEURS REUNIS

11, rue de la Montagne Ste-Genevieve, 75005 Paris.

Tel.: 354 74.46 - 354 43.81



ПУБЛИЦИСТИКА, ПОЛИТИКА,
СОЦИОЛОГИЯ

Лев НАВРОЗОВ

ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ И СПАСЕНИЕ ЗАПАДА

ГРУППОВОЕ САМООБОЖАНИЕ КАК ПРИБЕЖИЩЕ ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Троцкий сказал, что в том обществе, которое он создал со своими соратниками, люди будут все более сильными, мудрыми и утонченными, и даже голоса у них станут более музыкальными; средний человек достигнет уровня Аристотеля, Гете, Маркса, а над этим горным хребтом поднимутся еще более высокие вершины. Позднее Сталин сказал, а Молотов повторил, что даже последний советский гражданин на голову выше любого зарубежного чинуши.

В 20-м веке считается неудобным восхвалять самого себя лично: "Я, Троцкий, на голову выше Аристотеля или Гете". Но безудержное восхваление самого себя через групповое самовосхваление (мы, рабочие, ленинцы, писатели, христиане, немцы, русские, выпускники Харварда, негры, полководцы, китайцы) воспринимается чуть ли не как жертвенное самоотречение. Оценивая себя лично, человек 20-го века научился сдерживать выражение своей страстной веры в собственное превосходство. Но как только он выступает как

член некоторой группы, все его сдерживающие центры выйдут из строя.

Еще в Москве я как-то прочел в журнала "Ньюйоркер" рецензию на советский фильм "Война и мир".* Рецензия построена на смелом парадоксе. Писатели-дворяне 18-го века открыли, что "и крестьянки чувства имеют". Из России, "страны, где по снисходительному предположению Запада нет утонченности", пишет журнал, к нам приходит "одно из главнейших произведений русского искусства". Оно и побудило журнал заключить, что и русские могут быть — да, утонченными, если хотите.

(На самом деле "одно из главнейших произведений русского искусства", фильм "Война и мир", представлял собой безликий продукт безликой советской бюрократии, экранизированный школьный учебник, набор благонамеренных кинобанальностей) .

Нужно знать, скажем, мою литературную среду в Москве, чтобы понять, как она восприняла открытие "Ньюйоркера", что "и русские (художественные) чувства имеют".

Многие западные специалисты по русской культуре представляют ее себе в виде собрания (бородатых?) мужланов, которые при Сталине вконец одичали. В Нью-Йорке меня уверяли, что Пастернак получил, наконец, возможность прочесть Пруста лишь незадолго до своей смерти. Не знаю, вышел ли вообще полный Пруст по-английски — я такого чуда не видел. Но по-русски, великолепное много-томное издание Пруста вышло — да, при Сталине. А если Пастернак и не читал это общедоступное издание, то лишь потому, что в своем зените он был несравненно богаче, глубже, изощреннее Пруста.

Так или иначе, но в литературной среде, в которой я вырос и жил в Москве, существовали свои представления о художественной утонченности, как это ни покажется невероятным журналу "Ньюйоркер". Например, Джойс и его бывший секретарь Бекет в настоящее время упоминаются в Нью-Йорке как символ западной литературной и художест-

Окончание. Начало см. в 49 номере

* "Ньюйоркер", 4 мая 1968 г., стр. 163

венной утонченности, о которой бородатые, одичавшие жители России, вроде Пастернака, никогда и не слыхивали. Дело только в том, что ребенком я читал статьи о Джойсе, когда Джойс умирал на Западе с голоду — и умер бы, если бы ему не помогали как слепому (тогда воспевали волевых слепых и глухонемых, которые борются со своими недугами). Где же я читал статьи о Джойсе? В библиотеке Клуба писателей, куда у меня, к счастью, был доступ с детства? Да нет же! В общедоступной "Интернациональной литературе". Ну и что же? А то, что если говорить об "экспериментальной прозе" или "художественной утонченности", то ведь Белый, Андреев, Евреинов, Филонов и другие опередили Джойса и Бекета на много лет. Но разве важна "экспериментальность" или "утонченность" сама по себе? Важен гений. Он одушевляет "экспериментальность" и "утонченность". А гением был Платонов. По сравнению с ним Джойс — это что же? "Экспериментатор" с опозданием этак лет на тридцать по часам золотого века русской культуры? Добрых тридцать лет после написания "Чевенгура" Платонов, насколько мне известно, все еще не упоминался ни в одном западном источнике.

Гигантская бюрократия изучения русской культуры на Западе не открыла на сегодняшний день ни одного русского писателя: она лишь подхватывает либо официальные советские имена, либо газетные скандалы-сенсации, либо слухи, циркулирующие в литературной среде России или эмиграции, часто с опозданием на десятилетия. Статья "Русская литература" / после революции/ ведущего профессора ведущего Колумбийского университета в ведущей Британской энциклопедии 1970 года, описывая с одинаковым подъемом творчество Фурманова, Gladkova, Николая Островского, Маргариты Алигер или Ажаева, даже не упоминает имени Платонова, Мандельштама, Ремизова, Цветаевой или Замятина, хотя последние трое жили на Западе и уж, конечно, Замятин предвосхитил Орвелла на добрые четверть века /чтобы умереть на Западе в нищете и безвестности, а потом, лет этак через сорок, начать плодить диссертации хотя бы в том же Колумбийском университете/.

Моя мама, читавшая на трех западных языках и очень любившая "Запад", говорила про Джойса: "Рассудочно". В Нью-Йорке среди утонченных знатоков литературы существует мнение, что писатель — это инженер человеческих душ? Нет, не инженер, а слесарь-водопроводчик или техник-любитель, собирающий из слов или различных обрезков металла "утонченные" электробритвы, которые не бреют, а служат для образования — например, соискания ученых степеней в области искусствоведения!

Эти небреющие электробритвы создаются в огромном количестве во всех искусствах. Некоторые московские провинциалы — а провинциалов в Москве не меньше, чем в Нью-Йорке или Париже — от них в восторге. Дело только в том, что эти небреющие электробритвы создаются такими же школьниками, которые сто лет назад писали стихи о соловье /"Я вышел в сад, уж соловей..."/. С той лишь разницей, что объем пошлости возрос за сто лет неизмеримо в силу роста производства бумаги, красок или музыкальных инструментов, а также роста числа лиц, освобожденных от необходимости сеять хлеб или тачать сапоги вместо создания небреющих электробритв, слывающих за искусство и иногда даже покупаемых, — обычно чиновниками культурных учреждений за счет доверчивых или запуганных налогоплательщиков.

Преобладание стихов "без рифм", живописи "без изображения внешнего мира" или музыки "без гармонии" не умножило таланты и уж, конечно, не уменьшило бездарности в этом мире. Наоборот, бездарность освободилась от необходимости "рифмовать" свою галиматью, "изображать" или "изучать гармонию" и с тем большим рвением ринулась "творить" и "выражать себя". Точно также возможность публично заниматься показной чепухой или нарушать общественные приличия умножило не таланты, а средства привлечения внимания с помощью скандалов для тех, кто ни на что иное не способен. Маяковский, став преуспевающим советским халтурщиком, срывал таким образом выступления Есенина и Ахматовой. Этим можно восхищаться, когда такие скандалы — редкость, но не когда таких маяковских на Западе миллионы.

Но вернемся к парадоксальному открытию журнала "Нью-Йоркер", что "И русские /художественные/ чувства имеют "Нью-Йоркер" развивает этот парадокс далее. Оказывается, не все американцы на голову утонченнее любого жителя России. Нашлись такие американцы /вне редакции журнала, разумеется/, которые опозлили и фильм "Война и мир", сопроводив его дикторским текстом, звучащим "как болтовня развязного агента по продаже недвижимого имущества". "Мы-то, утонченные, и опозлили фильм", — пишет рецензент. Каков парадокс, а? Русские создали /да, представьте себе/ нечто утонченное, а американцы, наоборот, его опозлили. Да неужели есть американцы пошлее, чем жители России? Голова идет кругом от парадоксов "Нью-Йоркера"!

/Текст, который утонченный "Нью-Йоркер" принял за американский пояснительный текст для американских зрителей, цитируя его и проклиная как болтовню американского "развязного агента по продаже недвижимого имущества", опозлившего "русский фильм", — это текст Льва Толстого/.

Как и другие пороки или добродетели, групповое самообожание присуще всем странам, включая Россию и Соединенные Штаты. Но групповое самообожание, как и другие пороки или добродетели, ведет к различным следствиям в силу различных общественных условий. Проживающий в бараке, далеко от иностранных глаз и ушей, советский землекоп понимает, что социально он на голову ниже многих в его стране, но, по крайней мере, он может считать, что он на голову выше тех, кто жил в Кенигсберге /родной город Иммануила Канта/ или живет в Праге /старейший университет в средней Европе/, а значит, и в Париже, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Токио. Разве не его бывший сосед по нарам теперь такой человек в Берлине /пока только восточном/, что берлинцы, те самые, что слушали квартеты Бетховена в особняке фрау фон Дирксен теперь за честь почитают, если он на них взглянет? Не на голову, а на десять голов он их выше!

Иначе говоря, советское групповое самообожание, как выражаются социологи, функционально: оно способствует подготовке известной части населения к мировому господству,

ибо вселяет в него осознаваемую или безотчетную надежду стать расой господ. Эйнштейн любого народа обычно не стремится к групповому самообожанию: его ценность, как и ценность хорошего сапожника, интернациональна, внеклассова, всечеловечна. Лица же, неспособные ни к чему, кроме самообожания, охотно прячутся за группу: "Наш последний на голову выше их первого." В условиях тоталитарного общества у них появляется новая надежда — возвыситься за счет завованного мира.

Под действием иных общественных условий американское групповое самообожание принимает направление, противоположное советскому. Обожающие себя советские русские полагают, что поскольку они на голову выше всех, им суждено владеть и править всеми народами /весьма обычное поведенческое направление в истории/. Обожающие себя американцы полагают, что, поскольку они на голову выше всех, им надо объединиться пусть на небольшой, но зато чисто американской территории, предоставив всем остальным народам погрязать в своих национально-культурных пороках, как, например, отсутствие утонченности.

Так, американский романист, критик и журналист по имени Д. Кис Мано /который считается консерватором/ пришел к следующему заключению после своей поездки в Россию:

Я помню, что сказал мне Джеф Харт, когда мы отправлялись в путь. "Не их правительство я не люблю, а самих русских". И я подумал: "Хорошо сказано". Нет, оказалось, что это не просто хорошо сказано, а правильно сказано — он как в воду глядел. Не тратьте попусту сочувствие на Россию, ленинизм, сталинизм, чистки, ГУЛАГ, агитпроп, угнетение, — все это являлось и является необходимостью, вызванной острой внутренней потребностью рабского народа в рабстве.

На своей фотографии в журнале "Ньюзвик" г-н Мано похож на "русского", а именно советского упитанного самодовольного юношу из счастливой процветающей еврейской семьи 30-х годов откуда-нибудь из Житомира или Пинска. Но, конечно, подобное замечание столь же неприлично, сколь было бы замечание в берлинском особняке фрау фон Дирксен, что д-р Геббельс похож на уральского рабочего /Помни-

*"Нэшинэл ревью", 20 февраля, 1976 г.

те, Гришка из Златоуста, лопухонький, пришибленный такой, низкого росточка: советским карикатуристам пришлось выправить это сходство, и д-р Геббельс, в отличие от Гитлера, в советских карикатурах неузнаваем/. Так или иначе, г-н Мано во всех отношениях на голову выше любого "русского" /то есть, скажем, еврея-москвича, немца Поволжья и представителя других ста наций/:

Русские хотят, чтобы их угнетали — они целуют кнут. С ними бесполезно обсуждать естественное право или личную свободу: эти понятия просто не переводятся на русский язык.*

Любопытно, что такие недавние эмигранты из России как Владимир Соловьев и Елена Клепикова добавляют жару к огню этого и так полыхающего "русобобства" — слово, которое я беру в кавычки, ибо тут понятие "русские" трактуется в "американском смысле" — как "жители России". Для эмигрантской аудитории эта нью-йоркская пара пишет:

**Оговорим сразу же наше несогласие с расхожим западным пред-
рассудком о России — с представлением о ее теперешнем политическом строе, как о чем-то насильственном и постороннем различным слоям русского населения.****

Иначе говоря, именно то, что в настоящее время американские правительственные учреждения, университеты и газеты /например, "Нью-Йорк Таймс"/ желают слышать и печатать, наша нью-йоркская пара подает как острый парадокс, несогласие с западным предрассудком, желание резать правду-матку в глаза власть, кафедры и газеты имущим. В Нью-Йорке их правда-матка такого же рода, как в Москве правда-матка о том, что реакционные американские круги хотели бы ввергнуть человечество в пучину новой мировой войны, но народы /и прежде всего советские журналисты/ зорко следят за их происками.

Социологически неграмотным американцам правда-матка Мано-Соловьева-Клепиковой может показаться не только чрезвычайно приятной, но и почти самоочевидной. Разве в Америке — не свобода, а в России — не тирания? Дело, одна-

*Там же.

** "Время и мы", №44, 1979, стр. 135.

ко, в том, что, скажем, физическая структура и ее химический состав — не одно и то же: один и тот же химический состав дает алмаз и обыкновенный уголь или сдобный хлеб и несъедобный ком теста. Подобно этому, социальная структура Соединенных Штатов опирается на определенные элементы ее состава, а социальная структура России — на другие элементы, возможно, такого же состава, а возможно даже состава, в котором свободолюбивые мотивации превосходят таковые в Соединенных Штатах, но находятся не у дел или, как говорят структурные аналитики, не "являются несущими элементами структуры". В Германии или Японии "несущие элементы структуры" менялись несколько раз в течение жизни одного человека, и социальная структура менялась соответственно.

Верно, что нью-йоркский мусорщик одет /и живет/ как советский академик. Кроме того, он говорит по-английски или на другом иностранном языке. В силу этого некоторым эмигрантам из России может казаться по приезду в Нью-Йорк, что его ум или хотя бы кругозор непременно напоминает ум или хотя бы кругозор, скажем, академика Сахарова. У меня, изучавшего Соединенные Штаты в течение 20 лет еще в России, подобных оптико-акустических иллюзий не возникает. По приезду я встретил на официальном приеме нью-йоркского ученого-кибернетика и бизнесмена, основателя фирмы компьютерных услуг. Вне своей профессии — и гастрономии, которой он увлекался, состоя членом всех известных клубов гурманов всего мира, — он не знал того, что знает крестьянин отдаленной русской деревни, ежедневно читающий иностранные новости в "Правде". Напомню, что, согласно недавнему опросу, только 10 процентов американцев знали, что Голда Меир была премьер-министром Израиля, в то время как 40 процентов полагали, что она была премьер-министром Египта. От среднего крестьянина отдаленной русской деревни этот нью-йоркский кибернетик-компьютерист отличается тем, что тому знакомо тяжелое физическое усилие, боль, страх, а этот живет в волшебном мире исполнения желаний по мановению чековой книжки. Вне своей области и гастрономии он отличается от среднего крестьянина отдаленной русской де-

ревни лишь безмятежностью младенца. Свобода? Он потребляет ее, как младенец материнское молоко, и знает он о ней столько же. Когда ее у него отнимут вместе с чековой книжкой, он заплачет и блатные в концлагере будут смеяться над его младенческими слезами.

Готов ли данный кибернетик-бизнесмен целовать кнут? Да ведь сам президент Картер не только готов, выражая волю подобных американцев, целовать кнут — он, еще и не видя кнута, бросился целовать своих будущих возможных хозяев в лице их представителя на данное число Брежнева. Наш же кибернетик-бизнесмен вообще не поймет, о чем тут речь. Чем же кнут от клавиш компьютера или устриц отличается и отчего же не целовать его просто так, заранее и на всякий случай, если это полезно для его бизнеса или гастрономии?

Как бы там ни было, интересующиеся увесистым академическим изложением открытия г-на Мано, что по самой своей природе "русские" целуют кнут, могут обратиться к соответствующей монографии ведущего эксперта по русской культуре профессора Хингли под заглавием "Русский ум".*

Если бы профессор Хингли использовал подобный метод для написания подобной книги под заглавием "Американо-еврейский ум" /имея в виду выходцев из России, приехавших в Америку до 1917 г./ или, упаси Боже, "Негритянский ум", то его бы объявили в Нью-Йорке нацистом и даже его жизнь была бы, возможно, в опасности потому, что выходцы из России, приехавшие до 1917 г., а позднее американские негры создали мощные организации для борьбы против попыток обобщить их в виде некоего единого ума, противоположного уму англосакса. Но, конечно, монография "Русский ум" или "Вьетнамский ум" лишь украсит ученые труды любого английского или американского университета.

Вьетнамским умом занялся редакционный обозреватель газеты "Нью-Йорк Таймс" Энтони Люис, который считается и считает себя в противовес г-ну Мано либералом. Дело в том, что соответствующие американские бюрократии оказались на практике, как и следовало ожидать, настолько бездарны-

ми, что проиграли войну даже против маленького аграрного Северного Вьетнама, несмотря на редчайшие громадные преимущества в этой войне. Кто же виноват в их бездарности? Разумеется, жители Южного Вьетнама, согласно г-ну Люису:

Подавляющее большинство американцев, включая Конгресс, убедились на горьком опыте в своем безумии... сама идея создания общества по американскому образцу в Южном Вьетнаме была ошибкой... и никакое количество оружия и крови никогда не могло бы превратить ее в жизнь.*

Когда была потеряна Ангола — уже просто потому, что Соединенные Штаты не снабжали свою сторону оружием, "чтобы не произошло второго Вьетнама", г-н Люис немедленно добавил Анголу к тому же списку:

Американцам давно следовало убедиться в том, насколько бессмысленно ожидать расцвета западной демократии в культурах, где у нее нет корней: во Вьетнаме или, например, в Анголе.**

Опять же интересно представить себе, что было бы, если бы г-н Люис заявил, что у американских негров и у американских евреев, приехавших в начале века из России, нет культурных корней для англосаксонской демократии. Тогда бы г-на Люиса просто выбросили отовсюду за расизм. Ибо расизм г-н Люис и проповедует: "расин" во французском и английском словах, означающих "лишать расы", буквально значит "корень", и утверждение г-на Люиса, что гражданское общество заведомо невозможно для тех, у кого нет англосаксонских "корней", — и есть расизм. Но только расизм г-на Люиса не захватнический, а, наоборот, пораженческий, ведущий к самоуничтожению Соединенных Штатов и всего нетоталитарного мира. Это как бы советское или нацистское самообожание, вывернутое наизнанку.

Если бы Соединенные Штаты отдали Японию Сталину /а сделать это было нетрудно/ и "западное" гражданское общество не процветало бы в этой стране, как оно процветает сейчас /и, возможно, не менее устойчиво, чем в любой "западной" стране/, газета "Нью-Йорк Таймс" принялась бы бичевать тех безумцев, которые ожидали расцвета западной демокра-

* "Нью-Йорк Таймс", 21 апреля 1975 г.

** "Нью-Йорк Таймс", 24 марта, 1977 г.

*Скрибнер, 1977 г.

тии в Японии, являющейся исторически колонией Кореи /которая сама была колонией Китая/. Насаждают англосаксонские корни г-на Мано и г-на Люиса в колонии Китая!

Когда Соединенные Штаты попытаются защитить Израиль и — коль скоро соответствующие бюрократии останутся на том же уровне — провалятся так же чудовищно, как во Вьетнаме, то редакторская колонка в "Нью-Йорк Таймс" будет готова заранее:

Американцам давно следовало убедиться в том, насколько бессмысленно ожидать расцвета западной демократии в этой архаичной восточной сионистской теократии с ее левантйской коррупцией, воинственным порабощением неевреев и навязчивой библейской манией величия, возведенной в сан всеильной государственной религии.

А когда Соединенные Штаты будут выброшены из Англии при попытке ее защитить, вот уж будет раздолье для "Нью-Йорк Таймс" в бичевании тех безумцев, которые верили в возможность англосаксонской демократии в Англии. Только почитайте исторический документ о том, как правители превратили "каждого человека не только в следователя-инквизитора, но и в судью, осведомителя и тайного агента, натравливая детей на отцов и братьев на братьев".* Да это прямо "Москва, 1937-ой". Но только это Англия и всего лишь несколько поколений ранее.

Свою статью о России г-н Мано заканчивает таким образом:

Я привез хорошие новости: коммунизм советского толка никогда не придет в Америку, Англию или даже Италию. И я привез плохие новости: он будет там, где есть народ-раб, то есть в Азии, в большей части Африки, большей части Южной Америки, большей части обитаемого мира.**

Хорошие новости для чистых англосаксов, какими, скажем, евреи Нью-Йорка часто себя себе представляют: эти чистые англосаксы должны сами отдать без сопротивления "обитаемый мир" вне областей, где они проживают, то есть, имеется в виду прежде всего Нью-Йорк, где проживает сам г-н Мано, хотя как насчет преобладания в Нью-Йорке пуэрториканцев, этого явного народа-раба?

*Бокль, "История цивилизации в Англии", Хэрстс лайбрани, Нью-Йорк, 1913 г., стр. 354.

**"Нэшнл ревью", 20 февраля, 1976 г.

Но групповое самообожание американцев ведет к самоуничтожению не только в силу этой установки на отступление, одностороннее разоружение, сдачу во имя сохранения чистоты расы. Оно ведет к самоуничтожению в силу того, что последний американский гражданин кажется обожающим себя американцам на голову выше любого жителя любой другой страны, проживающего в этой стране или приехавшего в Соединенные Штаты. Примеры бесчисленны. На этой основе группового самообожания построены американская разведка, изучение России и других стран, литературная критика. Но я ограничусь одним примером.

В декабре 1977 года Госдепартамент направил своего лучшего переводчика на польский язык на выполнение ответственного и почетного задания. Этот мастер перевода на польский язык должен был сопровождать президента Картера во время его поездки в Польшу. Заметим, что в Соединенных Штатах можно найти множество высокообразованных поляков, для которых и польский, и английский — одинаково родные языки. Но разве поляк может знать хотя бы польский язык лучше американца, работника Госдепартамента, у которого есть соответствующие документы, выданные американскими учреждениями и удостоверяющие, что он знает польский язык лучше, чем кто бы то ни было?

В Польше произошел международный скандал потому, что поляки хохотали над речью Картера в переводе мастера перевода. Скандал был расписан на первых страницах всех крупных газет нетоталитарного мира. Возник вопрос: кто же знает польский язык — этот американский чиновник или поляки? Кому из них верить? Ответ ясен. Президент Картер лично послал несравненному американскому знатоку польского языка от руки написанное письмо /особая и редкая честь/, в котором он в частности заявил: "Благодаря вам, моя поездка в Польшу была и приятной, и полезной".

Сталин бы расстрелял и данного несравненного знатока польского языка, и всех, кто выдали ему соответствующие документы, и заодно половину Госдепартамента. Это не-

хорошо, но завоевания часто осуществляются нехорошими людьми: Чингис-ханом, Гитлером, северовьетнамским генералом Гиапом.

И, наоборот, стоит одному американскому чиновнику показать свою тупость, невежество или бездарность, как орды тупиц, невежд, бездарностей бросаются на защиту "своего", ибо защищая его, они защищают и свое высокооплачиваемое шарлатанство, лень или глупость. Хорошо это или нет, но Соединенные Штаты при этом подходе ожидает гибель.

Когда я просматриваю книги, статьи или докладные бесконечных тупиц, невежд и бездарностей, якобы ответственных за благополучное существование нетоталитарного мира, я спрашиваю окружающих, на каком основании эти лица априорно принимаются за Аристотелей или Гете, стоящих на голову выше, скажем, "любого советского чинуши"? Генетические объяснения тут не подходят: трудно доказывать, что, скажем, лица, привезенные родителями из украинских местечек или ирландских деревень, несут в себе некие американские гены, отличные от ген неамериканских. Единственное возможное объяснение: западная /американская/ культура. Американское население испытывает действие западной /американской/ культуры, и в частности, университетского образования, в силу чего средний американец и становится на голову выше населения тоталитарных стран. Правда, из коммерческой фирмы его выгонят за отсутствием способностей. Но как в советской действительности неудавшийся делец может всегда стать управдомом, так в американской действительности неудавшийся управдом всегда может возглавлять разведку, оборону, иностранную политику, стратегию, коль скоро в кармане у него удостоверение о том, что он, скажем, говорит по-польски лучше, чем любой поляк.

Итак: ключ — западная /американская/ культура, к обзору которой мы и переходим.

КУЛЬТУРА УДОВОЛЬСТВИЯ

Я буду говорить только о неспециализированной умственной культуре: о том, что французы называли некогда словом "летр", то есть деятельность писателей и мыслителей, выраженная в печатном слове.

Эта культура в Соединенных Штатах (и на Западе вообще?) резко распадается на культуру удовольствия и культуру необходимости.

Однажды я выступал вместе с бывшим советским профессором-гуманитарием перед американской аудиторией. Мой напарник читал заранее написанную для него по-английски лекцию. Я не буду говорить, хороша она была или нет, ибо это не имеет значения. Дело в том, что никто так или иначе не мог понять ни одной фразы. С таким же успехом он мог бы читать лекцию по-русски. Через некоторое время в зале началось легкое движение. Тогда устроитель лекции вышел к микрофону и сурово спросил зал: "Мы что — сюда пришли для удовольствия?" Зал виновато застыл и сидел до конца чтения в полном молчании.

Реши, за какой культурой ты пришел. Если за культурой удовольствия, то иди развлекайся ("Смотря эту пьесу, вы будете смеяться 250 раз", — и это точный подсчет). А если за культурой необходимости, с е р ь е з н о й культурой, то какое же тут может быть удовольствие? Тут надо страдать. И слушать лекцию, в которой не понимаешь ни фразы, самое в этом смысле полезное. Скука — это тоже страдание.

Культура необходимости полезна: пострадаешь и станешь культурным, то есть выдвинешься, приобщись к более высокому слою населения, да и получишь повышение по службе. Ну а если захочешь развлечься, то тут пользы, конечно, никакой, но зато одно удовольствие, за которое надо платить, ибо культура удовольствия — коммерческая, то есть существует за счет ее потребителей, в то время как культура необходимости существует либо за счет налогов и других субсидий, либо благодаря возможности повышения с ее помощью доходов потребителей этой культуры.

Прежде чем перейти к культуре удовольствия, стоит сделать одно замечание, относящееся к свободному обществу в целом.

Итак, мы установили ранее, что высший пик кривой умственных достижений /например, Эйнштейн/ более вероятен в свободном обществе, чем в тоталитарном. Но отсюда отнюдь не следует, что все участки этой кривой поднимаются в свободном обществе над обществом тоталитарным. Наоборот, нижняя часть этой кривой во всяком случае опускается в свободном обществе ниже, чем в обществе тоталитарном. Вот две девушки-москвички, которые плохо учатся и не хотят работать, хотя шансов у них выйти замуж никаких. Что их ожидает? Высылка в тьмутаракань и, следовательно, весьма вероятная гибель. Вот две нью-йорские девушки: Джо Энн /18-и лет/ и ее сестричка Нелли Вега /20 лет/. Они живут на пособие по благосостоянию (свыше 100 долларов в месяц на каждую сестричку плюс квартира, продовольственные талоны, бесплатные лекарства и прочее). Они не умеют и не хотят уметь читать, писать или запоминать, кто сейчас президент Соединенных Штатов, ибо все это лишь омрачает, по их мнению, счастье, а стремление к счастью — это право, согласно американской конституции. Такое же право, как право некоего клерка патентного бюро Эйнштейна опубликовать статьи, не имеющие отношения к патентному бюро, — на том хотя бы основании, что в этом заключается его, эйнштейновское стремление к счастью.

Ум многих жителей в России изощряется не потому, что они пишут "Черный монах" или открывают теорию относительности, а потому что для выживания в России им приходится развивать хитрость, подозрительность, изворотливость, если у них нет таланта, представляющего ценность для правителей. Сестричкам же Вега не надо напрягать ум: еду им только что не кладут в рот, а грампластинки или магнитные пленки сами наполняют их жизнь дурманящим пением-криком, вместе с физическими наркотиками. Естественно, что многие жители свободных стран создают себе жизненные условия, которые еще древние сказки многих народов пред-

ставляли как высшее счастье: отсутствие мысли, гашиш, вечное жевание (пир) с плотью в числе прочих яств. Почему же сестрички Вега должны отказаться от этой сказочной жизни, о которой мечтали создатели сказок многих народов в течение тысячелетий?

Но, конечно, многие обитатели этого ныне общедоступного в Нью-Йорке сказочного рая глупеют, тупеют, впадают в детство или идиотизм.

Перейдем теперь к культуре удовольствия.

Подавляющее большинство книг, издающихся коммерчески в Соединенных Штатах, не притязает на культуру и, следовательно, говорить о них не следует, как не следует говорить о "легкой музыке" или порнографии. Таковые всегда были, есть и будут в любом более или менее свободном обществе. Целесообразно взять коммерчески изданную книгу, объявляемую образцом высшей культуры устами той группы критиков и рецензентов, которая определяет книжную торговлю подобными произведениями высшей культуры.

Мы сказали выше, что у гения больше возможностей проявиться в свободном обществе. Теперь наша задача взять точку на кривой умственных достижений явно ниже гения, но все же как можно выше, с тем, чтобы проследить, как быстро эта кривая идет вниз после высшего пика — гения.

Такой удачной "второй точкой" представляется книга Вальтера Лангера "Ум Адольфа Гитлера". Никто не утверждает, что Вальтер Лангер — это Чехов или Эйнштейн. С другой стороны, вот оценка группы (которую некоторые называют мафией), определяющей торговлю книгами, притязующими на (высшую) культуру. Книга была написана в 1943 г. как секретный доклад для американского правительства. Затем 29 лет спустя она была издана коммерческим издательством, и данная группа сочла ее и через 29 лет все такой же "захватывающей" и "значительной". Это "шедевр... полный глубоких прозрений". "Могучее исследование". "Поразительно точная основополагающая работа".

Итак, в 1943 г., американские ученые, возглавляемые Лангером, бешено работали по заданию правительства над

разгадкой ума Гитлера (как говорит сам Лангер, весь ход войны зависел от того, когда их исследование будет представлено правительству). И, наконец, они нашли эту разгадку, сделав открытие, которое и 29 лет спустя ничуть не потеряло своей глубины и важности. Оказывается, Гитлер страдал от непреодолимого чувства вины, стыда и отвращения к себе, а вся его жизнь определялась желанием его скрыть и подавить в себе.

Да что же это такое? И как удалось это открыть из Нью-Йорка?

Лангер и его помощники установили, хотя и не наверняка, а лишь по слухам, что молодые киноактрисы приходят к Гитлеру в "канцелярию одни поздно ночью, а уходят на расвете".

Теперь вы понимаете, какое открытие? Что же может делать молодая девушка и Гитлер? Ночью? Притом наедине?

Лангеру и его помощникам совершенно ясно: она мочится на него. А что же еще они могут делать?

С дьявольской пронизательностью Лангер отмечает, что девушка оставалась "наедине с Гитлером за закрытыми дверьми, так что даже приближенные Гитлера не знали, что между ними происходит". Ведь если бы девушка не мочилась на Гитлера, то Гитлер бы распахнул настежь двери. Но он их закрыл. Разумеется, для того, чтобы скрыть, что девушка... А для чего же еще?

Гитлер уже проигрывал мировую войну, впереди было самоубийство или гибель от рук победителей. Тайное уничтожение евреев уже началось. Но согласно Лангеру, непреодолимое чувство вины, стыда и отвращения к себе вызывало у Гитлера не поражение в войне, а желание, чтобы на него мочились девушки. Согласно Лангеру, это желание (в котором я лично не вижу ничего ужасного, особенно если девушки хорошенькие) является как бы невообразимым архипреступлением, по сравнению с которым мировая война или Освенцим — это лишь вторичные, чисто технические меры, которые Гитлер предпринял потому, что стремился скрыть и подавить в себе это архипреступное желание.

За прошедшие с тех пор 35 лет не найдено ни одного намека на то, что у Гитлера было такое желание. Но зачем же тут какие-то намеки? Да ведь все неопровержимо было доказано в 1943 г. Девушка наедине с Гитлером. Ночью. За закрытыми дверьми.

Сделав это основополагающее открытие, Лангер с его помощью легко объясняет все, что происходит в Германии. Как в физике после открытия Ньютоном закона всемирного тяготения, в истории Германии 20-го века все становится на место. Моча — это грязь, согласно Лангеру. А одно время Гитлер "не только выглядел, как еврей низших классов, но и был грязнее, чем самый грязный еврей". Ибо тайно Гитлер любил грязь, так как она напоминала ему о моче. Но ведь Гитлеру приходилось подавлять и скрывать свое архипреступное извращение. Таким образом, "по мере того, как это извращение развивалось и становилось все более постыдным для Гитлера, он перенес свое отвращение и желание подавить его на евреев." То есть Гитлер любил евреев, как грязь (то есть, мочу), но чтобы скрыть и подавить свою архипреступную любовь, начал их преследовать. Вроде строгого начальника, который начинает нарочно кричать на приглянувшуюся ему подчиненную, доказывая тем самым, что она ему не нравится, а совсем наоборот.

Аксиоматическое убеждение Лангера, что немецкие евреи олицетворяли преступно любимую Гитлером грязь (то есть мочу) взято из английского выражения "грязный еврей", которое соответствует русскому "жид".

Ну, а как насчет неевреев?

Оказывается, немцы-неевреи вообще страдают тем же архипреступным извращением, что и Гитлер (а что же они делают наедине ночью за закрытыми дверьми?). Поэтому они испытывают удовольствие, когда Гитлер говорит, представляя себе, что из его рта на них льется любимая ими грязь (то есть моча).

Это секретное исследование было секретно подано в 1943 г. американскому правительству во главе с Рузвельтом, разведке и вооруженным силам. Оно произвело столь огром-

ное впечатление, что личный экземпляр был вручен лорду Галифаксу, британскому послу в США, и, по словам Лангера, тот запомнил имя автора этого глубочайшего труда на всю жизнь. Публикуя книгу 29 лет спустя, Лангер пишет с лаконичной скромностью большого ученого, писателя и мыслителя: "Я полагаю, что и специалисты и просто читатели найдут книгу и захватывающей и познавательной".

Семь лет после первого рассекреченного издания в 1972 году это глубочайшее проникновение в ум Гитлера, немецких евреев и немцев-неевреев красуется на стенде рекомендуемых книг в нью-йоркской библиотеке моего района.

КУЛЬТУРА НЕОБХОДИМОСТИ

Культура необходимости — это прежде всего образование в виде университетов или, скажем, "образовательное" (то есть, некоммерческое) телевидение. У поэта, например, не покупают стихи потому, что они представляют собой последний писк моды, но при этом так же бездарны, как стихи школьников о соловье сто лет назад, и только еще более всем надоели потому, что таких стихов — лавина. Многие дети из обеспеченных семей (а одних лишь миллионеров в Америке 600 тысяч) не желают производить или торговать, а желают "выражать себя" и "творить", но как написал друг нашей семьи в 1922 году: "Имея вместо таланта кукиш, ни за какие шиши его не купишь".

Что же делать?

Поэту назначается жалованье: пусть он преподает в университете поэзию. Или же читает свои стихи по "образовательному" телевидению . Или же ему выдается субсидия для того, чтобы жить, писать стихи, а также их создавать, в виде, так сказать, благотворительности.

Так образуется благотворительно-бюрократическая армия поэтов-чиновников, мыслителей-чиновников, писателей-чиновников и критиков-чиновников — со степенями, чинами, званиями. Творческий или духовный уровень этой армии

представляет собой нечто чудовищное. Некий Саймон Карлинский в чине "доктора славянских литератур", поскольку его родители выходцы из России, и он даже "знает русский язык", печатно объявил, например, что, по моему мнению, Пастернак — идиот. В своем письме в редакцию данного журнала я написал, что Пастернак — нет, но ваш ученый критик — да, притом форменный. Редакция напечатала мое письмо (видимо, не без удовольствия) и предложила Карлинскому ответить. В своем подробнейшем ответе Карлинский доказывает, по всем правилам защиты диссертации, что моя точка зрения, согласно которой он, Карлинский, — идиот, не является обоснованной, поскольку я действительно, считаю Пастернака идиотом, как следует из цитат в моей книге, которые Карлинский приводит с эрудицией непревзойденного исследователя моего творчества.

Продвижение в этой армии бюрократии искусств и общественно-гуманитарных наук невозможно без чинов и званий и прежде всего чина "бакалавра искусств".

Первой вехой моего сына в Йельском университете на пути к этому чину было сочинение о понимании Гегелем свободы в его "Феноменологии духа". Мой сын взял указанную книгу и показал в своем сочинении, что взгляды, выраженные в ней Гегелем на сей предмет, таковы. Во-первых, страх, выражаемый "зависимым лицом" (крепостное право в то время процветало и в Германии), должен сочетаться с "дисциплиной службы и подчинения". "Без дисциплины службы и подчинения страх остается формальным и не распространяется на всю известную реальность существования".*

Во-вторых, страх зависимого лица должен быть абсолютным. "Если она /природа зависимого лица/ не испытывает абсолютный страх, а лишь беспокойство, то за пределами этой природы останется некоторая отрицательная реальность, и таким образом эта природа не будет целиком и полностью пронизана страхом".

Тут Гегель позволяет себе шутку. "Собственный ум" по-немецки — "айгене зин", а "упрямство" — "айгензин". У зави-

* "Феноменология духа", Харпер, Нью-Йорк, 1967 г., стр. 239

симого лица не должно быть "собственного ума", а то получится "упрямство". Без сомнения студенты Гегеля — особенно владельцы крепостных или офицеры — в этом месте хохотали, представляя себе, как они вытравливают "айгензин" из зависимых лиц с помощью абсолютного страха.

Действие, которое произвело это сочинение моего сына, можно сравнить с действием в московском университете сочинения, в котором бы объяснялось, что у Ленина были очень посредственные способности к игре в шахматы. Мой сын чуть не вылетел из университета за свой "айгене зин" потому, что профессор отказался поставить низшую оценку за его сочинение: профессор как бы отказался признать сам факт его существования, и, таким образом, мой сын как бы не подал сочинение без уважительной причины /что может повести к исключению/.

А что же моему сыну следовало делать?

Списать старые сочинения студентов данного профессора о том, что Гегель был большой свободолобец. Ибо так его желает видеть профессор. Что же касается самой "Феноменологии духа", то смотри в книгу, а видишь или виждь фигу. "Айгене зин" до добра не доведет. Не упрямясь, душенька. А получив от университета документ о том, что Гегеля ты усвоил и в бакалавры искусств вышел, можешь пойти и в разведку, и в поэзию, и в критику, и в перевод на польский язык, — словом, в любую часть культуры необходимости, которая оплачивается в основном за счет налогоплательщиков, а их денег никому не жалко.

Теперь, подобно тому, как мы это сделали в культуре удовольствия, возьмем в культуре необходимости по возможности высокую точку на кривой умственных достижений, чтобы оценить крутизну спуска этой кривой.

За такую точку целесообразно взять труды о России и Китае Збигнева Бжезинского, который прошел все искусства и науки американских университетов в данной области, получив все высшие степени и звания, и занимает в настоящее время пост советника президента по национальной безопасности, то есть высший пост специалиста в области защиты нетотали-

тарного мира. Стоит взять труды этого специалиста начала 60-х гг. с тем, чтобы современный западный читатель мог взглянуть на них глазами сегодняшнего дня.

В начале 60-х гг. Хрущев и Мао начали открыто ссориться, и стало ясно, что советский и китайский режимы были всегда отдельными режимами. Следовательно, было бы столь же неточно говорить о "расколе советско-китайского единства", как говорить в 1941 г. о "расколе советско-немецкого единства", якобы возникшего в 1939 г. "Раскалываться" может лишь то, что составляло некий монолит, а не то, что существовало отдельно.

Г-н Бжезинский изрек следующее, вопреки тому, что все уже видели воочию:

Китайско-советский блок не раскалывается и вряд ли расколется.*

Ну а вдруг? По мнению нынешнего первого стратега Соединенных Штатов, ничего не может быть хуже для Запада, чем подобный раскол:

С западной точки зрения, продолжительное состояние официально-советско-китайского единства с небольшой долей расхождений определено лучше открытого разрыва. Глубокий раскол повел бы к зловещим последствиям для западного мира.

Говорят, что даже некоторые животные знают инстинктивно, что разделенный противник лучше единого противника, и бросаются в середину вражеской стаи, чтобы ее разделить. Но не таков нынешний первый стратег Соединенных Штатов. Его рассуждение основано на двух словах, или как сказали бы схоласты, на двух универсалиях. Одна универсалия: "революционный", а другая — "коммунизм". Бжезинский выучил эти слова во время списывания и запоминания университетских текстов и использует их со рвением схоласта 12-го столетия и с бездумностью попугая. Итак, вот его рассуждение. Материальный Китай более революционен, чем Россия. Следовательно, если маловероятный китайско-советский раскол и произойдет, то Китай в одиночку поведет более революционную политику, чем во времена единства, то есть, начнет револю-

* Бжезинский, "Вызов перемены в советском блоке", сборник "Советский Союз, 1922-1962 гг.", Прэгер, Нью-Йорк-Лондон, стр. 449.

ционное наступление на Запад. Что же делать Западу? Ему придется обороняться против Китая. А как тогда поступит Россия? Она придет на помощь Китаю в его революционном наступлении на Запад, ибо в Китае — коммунизм и в России — коммунизм. Не может же коммунизм не помочь коммунизму. Таким образом, сейчас менее революционная Россия обуздывает более революционный Китай, а тогда ей придется, наоборот, ему помогать в его революционном наступлении на Запад, то есть они вместе будут вести самое что ни на есть революционное наступление на Запад. Что и требовалось доказать.

Средний "советский чинуша", принимающий участие в так называемой советской глобальной экспансии, на это скажет: "Да парень, видно, того — или был глуп как пробка от рождения, или заучили его до того, что последние мозги у него набекрень свихнули".

И он будет прав: "культура" в смысле переписывания и запоминания текстов может превратить человека ниже средних умственных способностей, каким Бжезинский, видимо, являлся до своего образования, в так называемого круглого дурака — да нет, хуже: в ученого схоласта-попугая.

ФИНАЛ: АЛЛЕГРО ВИВАЧЕ

Возьмите изложенное выше и посмотрите сквозь него как сквозь магический кристалл. Что вы видите?

Радуйтесь. Вы видите ренессансы.

Позвольте, скажет иной читатель, но вы же говорили о посредственности, глупости, невежестве.

Ну и что? А разве во времена Возрождения каждый итальянец был Леонардо да Винчи? Золотой век культуры в России длился с начала 60-х годов прошлого столетия и /угасая/ до середины 30-х этого. А откройте "Русское богатство" 1880-х гг. Да там Чеховым и не пахнет. А томища журнала набиты все той же извечной халтурой, что и чемодан с произведениями некоего Лимонова, который мне принесли на дом, по прибытии одного эмигранта из России, с тем, чтобы я представил его

Западу, словно на Западе своих лимоновых не миллионы. В первой русской эмиграции творили Ходасевич и Цветаева. А еще в Москве попала мне многотомная антология русских поэтов зарубежья того времени и самое лучшее в ней: "Это звон бубенцов издалика, это тройки знакомый напев, это черная музыка Блока, что на искристый падает снег". И на том спасибо.

Я пишу о групповом самообожании на западе, но было бы грустно, если б мое эссе лишь бы усилило групповое /и личное/ самообожание тех эмигрантов из России, которые, не прочтя ни одной книги по-английски и не видя ничего, кроме того, что видит турист из окна отеля или автобуса, воображают с самодовольством, до которого было далеко и Троцкому, что они на голову — да нет, на сто голов выше — любого в Америке потому, что они слышали, как по радио передавали "легкую музыку", а не только Баха. В Соединенных Штатах достаточно радиостанций, никогда не передающих никакой "легкой музыки", так что мы, например, включив радио на все воскресенье, никогда ее не слышим. Но этим эмигрантам надо непременно слушать в Америке по радио "легкую музыку", чтобы убедиться еще раз в том, насколько голов они выше американцев. И уж, конечно, в России они и в жисть этой самой легкой музыки по радио не слышали, а все только Бах и Бах.

Это мне напоминает, как недавняя эмигрантка, работавшая в торговой сети советского города областного значения, заявила на всякий случай в Нью-Йорке, что она внучка Николая II .

Солженицын, который сам пишет, что никогда раньше /дело идет о 60-х годах/ он и Хемингуэя не читал, хотя /единственный/ шедевр Хемингуэя "Прощай оружие" был /прекрасно/ переведен на русский язык и издан в Москве в 30-х гг., вдруг оказывается таким графом Разумовским: как только их сиятельство еще дитяткой в колыбельке, бывало, проснутся, им сейчас Баха, а насчет этой самой легкой музыки по радио, упаси Боже: запрещено-с.

Никогда /говоря, кстати, о Бахе/ не было в истории человечества такого исполнения, в частности, Баха, и стольких знатоков и ценителей его музыки, как в Соединенных Штатах. Один из моих американских друзей, сын зубного техника, приехавшего из России в Америку около 60-ти лет назад, рассказал мне, как его отец, не замечая в Америке ничего, кроме того, что подтверждало бы его чувство культурного превосходства, исковеркал его жизнь, превратив его с детства в хама, который за хамство принимает бесконечное разнообразие человеческой природы.

Один из известных мне недавних эмигрантов из России ходит в Нью-Йорке на порнографические фильмы. Для чего? По его словам, еще раз убедиться в том, что американцы — свиньи, а не только хамы. Ему представляется, благодаря его обостренному интересу к данному предмету, что он, чистый и возвышенный, попал в дьявольский вертеп, содом и гоморру, свиной хлев.

Приехав в Россию 1861—1917 гг., подобные эмигранты увидели бы не Золотой век культуры, а публичные дома, которые они бы усиленно посещали для выяснения свиной природы жителей России.

Любопытно, что некоторые недавние эмигранты из России представляют себе и население России, которую они оставили, и население Израиля или Европы, где они побывали, и население Америки, куда они прибыли, в виде все того же хама, ублажающего себя всемирного мещанства или трусливой образованщины, и только сам данный эмигрант /на худой конец вместе со своей семьей или друзьями/ возвышается в собственных глазах над всеми народами в виде этакого Бакунина-Нечаева — представителя как бы отдельной расы-вершины человечества.

Всего лишь два поколения назад утверждалось, что только аристократическая традиция Милана или хотя бы Петербурга может создать почву для рождения местных оперных певцов, а в Америке такая затея просто смехотворна. Но теперь ясно, что никогда и в Италии не было такого богатого спектра оперных певцов, как в настоящее время в Соединенных Штатах, и

природные американские певцы получают ангажементы в стариннейших оперных театрах Европы.

Освобожденный человеческий гений. Именно так. Американец ходил по луне десятилетие назад — и какую ничтожную долю валового дохода это предприятие отняло. Какая мощь свободного предпринимательства. А медицина? А зодчество новых небоскребов?

В начале века Шпенглер издал свой увесистый том "Закат Европы" или "Упадок Запада". И как это брюзжание было правдоподобно. Еще правдоподобнее, чем брюзжание "Капитала". Ведь тогда только и говорили о декадентстве, разложении, смерти духа. Но что же мы видим теперь, с некоторого расстояния? Невиданные ренессансы Запада /и конечно, России/. Оказывается, до декадентской поэзии человечество вообще не знало поэзии такой глубины, изощренности и тонкости. До разлагающейся живописи у человечества не было такого восприятия духовного смысла цвета. До безыдейного /как тогда говорили/ Чехова человечество не знало, что такое психологическая полифония прозы.

Радуйтесь.

Только не забывайте, что искусство и науку спасения гражданских обществ еще предстоит создать. Как была создана мировая медицина в Европе или свое оперное исполнение в Соединенных Штатах.

И не забывайте, что талант — все такая же редчайшая ценность, каким он был всегда, и свобода сама по себе его не производит, как не производят его революция, коммунизм, образование, деньги, национальные гены, родная почва, религия, самодовольство, скандалы или плохие манеры.

И, кроме того, не забывайте, что свобода дает бездарности не меньше возможностей, чем таланту, и если посредственность будет вершить защитой гражданских обществ, нет им спасения.

И не забывая все это, радуйтесь.



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

ВСЛУХ О "ЧЕРНОМ" ИЗРАИЛЕ

В обширном томе Амоса Эйлона "Израильтяне — основатели и преемники" приводится описание Ашкелона: " Мало в Израиле пейзажей, отражающих в такой яркой и драматической форме изменения, которые произошли последние двадцать пять лет. Ашкелон — это новый город белых домов, две трети его жителей — выходцы из Марокко, Туниса и Ирака. Город основан в 1953 году и расположен на землях, в прошлом представлявших собой песчаную пустыню, где местами произрастали кусты или производились археологические раскопки. Древний Ашкелон был одним из пяти городов-крепостей филистимлян. Греки, римляне, византийцы, арабы и крестоносцы властвовали здесь. Так было до 1270 года, когда город был разрушен и оставлен."

За этими строками, создающими видимость идиллии, скрывается полная противоречий суровая действительность. Одним из противоречий, а, может быть, главным, является противоречие между "белым" и "черным" Израилем — между выходцами из Европы и стран Ислама. Темы этой не

очень-то любят касаться, но от фактов, действительности, как говорится, не уйдешь: это болезненное место Израиля, ибо здесь уже накоплено достаточное количество "горючего материала".

1

Начиная с 80-х годов прошлого столетия, еврейские поселенцы, создававшие новые колонии, города, и кибуцы, с этнической точки зрения, были людьми одного и того же типа: это были ашкеназийцы, иммигранты из стран Восточной Европы.

К ним следует присовокупить тонкую прослойку выходцев из Йемена, одна из психологических особенностей которых состояла в том, что они принимали как должное свой второстепенный общественный и экономический статус. Так продолжалось до освободительной войны 1948 года, когда история, сделав резкий поворот, приняла неожиданное направление. Только что созданное еврейское государство надо было заселять. Но где, откуда взять его будущих жителей?

В самом деле — оставшиеся в живых узники гитлеровских лагерей составляли не более двухсот тысяч человек, жалкие остатки уничтоженного многомиллионного европейского еврейства. Евреи Америки и Европы не поднимались с насиженных мест. Советское еврейство находилось за "железным занавесом"

С другой стороны, арабо-израильская война, закончившаяся полным поражением арабов, поставила евреев стран Ислама в двусмысленное и опасное положение. Видимо, именно в тот период программа сионизма, касающаяся национальной Родины евреев, обрела, наконец, плоть и кровь. Для выходцев из стран Азии и Африки Израиль превратился в буквальном смысле слова в национальное убежище. Массовое переселение евреев из арабских стран стало свершившимся фактом. Но что же представляла собой эта массовая алия?

Отличительная особенность выходцев из этих стран заключалась в их более низком, а то и примитивном экономическом и культурном уровне. Это были чаще всего люди, не имевшие никакой технической подготовки и специальности, и среди них — немало нуждавшихся в социальном воспомоществовании. Запад встретился с Востоком в совершенно неожиданных условиях — в рамках одного и того же народа. В результате народ Израиля претерпел глубокие преобразования, но они дали о себе знать лишь некоторое время спустя. Обратимся к фактам.

В Израиль, например, переселилось почти 75 процентов евреев, населяющих страны Ислама. И, естественно, в самом Израиле их демографический вес оказался чрезвычайно высоким: если в 1949 году евреи Востока составляли лишь 22 процента населения страны, то уже в 1955 году эта цифра достигла 38 процентов. В 1968 году число ашкеназийцев и восточных евреев сравнялось, а в семидесятых годах даже начало намечаться численное превосходство последних. Таким образом, в Израиле единая вера объединяла, по существу, совершенно разные этнические группы людей — людей разных культур, совершенно разного духовного и психологического облика. В том же направлении — объединения разных этнических групп — действовала и внешняя опасность: арабская угроза существованию страны. Казалось бы, народ был един, но духовные связи этого народа начали ослабевать и рваться — на передний план выступали социальные противоречия. Менялась живая ткань народа, все более сгущались на ней черные краски. И вот на этом фоне кричащим фактом стала выступать и ныне выступает безраздельная гегемония, сконцентрированная в руках "белых", ашкеназийцев. Этому есть, конечно, объективные причины, но ситуация, в любом случае, не может не вызвать напряженности.

Начнем с того, что гегемония "белого" Израиля используется в определенных политических целях, в одних случаях приобретая характер дискриминации выходцев из стран Ислама, в других — предоставления им неоправданных привилегий.

В каждом обществе имеются отсталые слои населения.

Есть они в Израиле, но здесь к расслоению общества при­мешивается очень болезненный этнический фактор. Не исключено, что при определенных исторических обстоятельствах эта проблема может сомкнуться с одной из самых острых проблем современности — проблемой "третьего мира". И здесь, и там накоплено достаточно отчаяния, чувства обиденности и неравенства.

Как же произошла эта глубокая пертурбация в народе Израиля? По-видимому, ее истоки уходят в эпоху создания еврейского государства, когда его население приняло с рас­простертыми объятьями прибывших с Востока братьев. Для них создавались временные поселения-"мааберот". По мере возможности эти люди обеспечивались работой, медицинским обслуживанием, немало делалось для воспитания детей. Но если посмотреть правде в глаза, то надо заметить, что вся эта "абсорбция" восточных евреев в значительной степени шла по "касательной" к жизни страны. Если бы израильское общество приняло, впитало евреев из стран Востока в свои дома и квартиры, все приобрело бы другой оборот.

Однако, на практике этого не произошло и, как неизбежный результат, образовалось два Израиля, и впоследствии оказалось, что это отнюдь не временное явление, а фактор, определяющий бытие страны всерьез и надолго.

Вначале, впрочем, царил оптимизм, свойственный всякой революционной эпохе. Казалось, что путем воспитания второго поколения эмигрантов с Востока вопрос будет быстро и эффективно решен. Действительность, однако, показала, что этнические деформации, создаваемые историей в течение веков, невозможно исправить за короткое время. Пришло разочарование. Оказалось, что Израиль, как и все "нормальные" государства, отягчен теми же болезнями века: преступность, наркотики, вымогательство и даже мафии на одном полюсе /где более всего сосредоточены выходцы из стран Африки/ и высокий уровень жизни плюс малоподвижная бюрократия — на другом.

2.

К моменту создания государства молодое поколение Израиля отличалось высокой преданностью национальным и общественным идеалам. Это было поколение, которое создавало трудовые поселения, шло в кибуцы, гордилось историей своей страны. Однако в силу целого ряда социально-исторических причин /на которых мы не будем сейчас останавливаться/ население страны утратило свои былые идеалы. Развился и охватил широкие слои населения дух наживы, совершенно не присущий пионерам-халуцим, стоявшим у основания государства. Несмотря на бурный прогресс промышленности и сельского хозяйства, на теле общества образовалась злокачественная бюрократическая короста, новый бюрократический истэблшмент.

Мы должны остановиться на этом явлении и понять, как развилось в стране это противостояние израильского истэблшмента "черному" Израилю.

В упомянутой уже книге Амоса Эйлона приводится следующая характеристика политических элит страны: ... она "напоминает союз феодальных, полуавтономных княжеств. Три или четыре таких элиты объединены в Маарах, они представляют интересы, называемыми "рабочими" /чиновники муниципалитетов, мелкие служащие, ремесленники, члены кибуцов, кооперативов и т. д./. Три элиты составляют религиозно-ортодоксальный истэблшмент. По крайней мере, еще две представляют "буржуазные" интересы средних классов, людей свободных профессий, лавочников, подрядчиков и городского несоциалистического пролетариата. Все эти элиты имеют свои финансовые учреждения, контролируемые партиями. Каждая получает свою долю из национальных фондов, каждая имеет свое представительство в государственном аппарате, а также в общественном и государственном хозяйстве".

Опять же, в глаза сразу же бросается этнический момент: почти полное отсутствие евреев из стран Ислама в высших звеньях истэблшмента и, наоборот — их наличие на низших его ступенях /особенно в полиции/.

74% членов Кнессета /с 1949 по 1970 гг./ составляли уроженцы Восточной Европы. Мы уже сказали, к 1970 году около половины еврейского населения Израиля составляли выходцы из стран Азии и Африки, тогда как этнический состав Кнессета почти не претерпел изменений.

"Ашкеназийский" государственный аппарат причудливым образом совмещает в себе некие идеалистические устремления с узко-партийными интересами, преобразующими государственную машину в громоздкий и бюрократический аппарат. Высший слой бюрократии принадлежит к так называемой "халуцианской" элите. Она как будто искренне стремится облагодетельствовать народ, и она не менее искренне поражается "неблагодарности" народа, не способного оценить ее усилий. В последнее время к "халуцианской" элите присоединились молодые технократы, мало заботящиеся о благе народа. Что же касается низших звеньев аппарата — огромной армии мелких чиновников — то они-то, прежде всего, и отличаются своим высокомерием и равнодушием к граждану и его правам.

3.

Вот с этим истэблшментом и столкнулась массовая азиатско-африканская алия, и эта встреча лишь продемонстрировала провал надежд, которые на нее возлагались. Начнем с того, что при всех стараниях истэблшмента эта алия превратилась не более, чем в объект воспомоществования. А это, в свою очередь, породило и развило в ней паразитические тенденции, дающие о себе знать едва ли не на каждом шагу. По существу был создан новый широкий класс в израильском обществе — класс социальных иждивенцев, который лег тяжелым грузом на плечи общества. Суть проблемы не только в том, что люди не могут, но они часто не хотят работать. И что особенно прискорбно, это нередко распространяется на второе поколение. Таким образом создается очаг преступлений, хулиганства, широкое распространение получает насилие.

Другая сторона того же явления — это девальвация, эрозия израильской демократии. Во время выборов ведется скрытая купля-продажа голосов, сопровождаемая обманом широких слоев "черного" населения.

Со времени массовой алии из стран Ислама прошло около тридцати лет и напрашиваются, по крайней мере, два вопроса. Первый и, может, наиболее трудный: нужна ли была вообще эта алия? По-видимому, у Израиля просто не было выбора, и он должен был, даже слепо, идти навстречу своей судьбе. И не только по прагматическим соображениям /необходимость быстрого увеличения еврейского населения/, но и в силу верности своей сионистской идеологии. Израиль должен был доказать себе и всему миру, что, осуществляя воссоединение еврейского народа на его национальной родине, он выполняет возложенную на него историей миссию. Второй вопрос — какова динамика развития восточного еврейства? С одной стороны, налицо очевидный прогресс в общем положении этнических групп из стран Ислама. Ликвидированы временные поселения. В обиход выходцев из этих стран вошли автомобили, телевизоры, холодильники. Функционирует сеть социального обеспечения, всеобщего образования и медицинского обслуживания. Но картина примет другой характер, если мы обратимся к более тщательному исследованию.

Произошло ли, например, сближение ножиц между уровнем доходов обеих этнических групп — "белого" и "черного" Израиля? Автор книги "Отношения этнических групп в Израиле" /1976/ И. Перес пишет, что "в 1969 году расходы на потребление в среде ашкеназийских евреев были почти вдвое больше, чем в среде восточных". Правительственная комиссия, созданная в 1971 году, правда, установила, что налицо непрерывное повышение жизненного уровня выходцев из стран Азии и Африки. Но, и, несмотря на это, доход их семьи составляет почти только 70% среднего дохода израильской семьи. Срок обучения у восточных евреев равен примерно 6-ти годам, в то время как у ашкеназийских — 9-ти. Причем, ножицы становятся все шире по мере повы-

шения уровня образования. Среди лиц, имеющих высшее образование первой степени, доля выходцев из стран Азии и Африки составляет 22%, а среди тех, кто имеет вторую степень, она снижается до 16%, у лиц, имеющих третью степень — достигает лишь 11%.

В правительстве, Сохнуте, Гистадруте, партиях участие восточных евреев приближается к нулю, и лишь в низовых звеньях государства — муниципалитетах, мы видим незначительный его рост.

Много выходцев из стран Ислама в фабрично-заводских комитетах, и это налагает свой отпечаток на весь характер профсоюзов в Израиле. Все чаще забастовки выбиваются из-под контроля Гистадрута и их участники привносят элемент бунта в демократическое профсоюзное движение.

4.

Не приходится удивляться, что в среде восточных этнических групп вырабатывается комплекс неполноценности, который компенсируется повышенной агрессивностью, создается этническая иерархия — и цвет кожи в ней играет все большую роль. Выходцы из Северной Африки, которые считаются "черными" в глазах восточно- и западно-европейских евреев, переносят это "звание" на эмигрантов из Индии, выглядящих еще более черными. Вышестоящими в этой иерархии считаются выходцы из Йемена, за ними следуют евреи из Ирака, внизу, на низшей ступени, стоят выходцы из Марокко. Теперь это место, у основания пирамиды, занимают евреи из Грузии, Дагестана и Бухары.

Европейская и американская алия тяготеет ближе к центру города. В предместьях и на окраинах концентрируются выходцы из стран Ислама. На этой почве растет антагонизм между молодежью различных районов, который принимает характер острых конфликтов, а иногда и открытых стычек.

Неизменно возникают трудности интеграции в школах. К примеру: в одной школе имеются два параллельных девятых класса — один нацелен на получение аттестата зрелости,

другой — лишь на удостоверение об окончании школы. В первом — большинство — из европейских и американских семей, родители имеют среднее и высшее образование, в другом классе более половины детей — выходцы из стран Азии и Африки, образование родителей среднее и ниже среднего.

Я отнюдь не уверен, что перед нами ущемление прав и дискриминация. Но вот что характерно: 76% учащихся более слабого класса жаловались на дискриминацию.

Однако наиболее тяжелые последствия азиатско-африканской алии ощущаются в социальных областях. Именно эта алия создала новый широкий класс, стоящий ниже пролетариата, своего рода "подпролетариат", который смыкается с классом иждивенцев. В отличие от люмпен-пролетариата, этот класс включает не только деклассированные элементы, но и лиц множества различных профессий, среди которых главное место занимают мелкие лавочники и торговцы. С этой проблемой непосредственно смыкается и проблема преступности. По данным газеты "Маарив", 92% находящихся в израильских тюрьмах составляют выходцы из арабских стран, 4% — из Балканских стран, и 4% — ашкеназийские евреи. Это именно тот класс /"подпролетариат"/, который, согласно классической формуле союза золота и черни, дал перевес Ликуду на последних выборах в Кнессете. Его влияние на израильскую демократию ведет к потере ею своей внутренней устойчивости, все большую роль приобретает социальная демагогия.

Протест "черного" Израиля прорывается то тут, то там. Такой протест, например, в значительных масштабах имел место в 1959 году в Вади-Салиб /Хайфа/. Тяжелые квартирные условия и острое чувство обойденности вывели массы выходцев из Северной Африки на улицу. Это было нечто вроде бунта "униженных и оскорбленных". Начались серьезные беспорядки. В Израиле это восприняли как знак предостережения. Но были ли сделаны выводы? Как часто бывает в таких случаях, со временем все заросло "травой забвения".

Несколько лет назад в Иерусалиме соорганизовалась группа молодежи /преимущественно выходцев из Марокко/ —

жителей той части города, где сконцентрировалась беднота, называющая себя "черными пантерами". Они заявили во всеуслышание: "Мы будем, как черные пантеры в Америке, потому что мы "черные и битые". Начались бурные демонстрации протеста, сопровождаемые актами своеволия и произвола. "Черные пантеры" силой забирали молоко в богатых районах и делили его среди нуждающихся. Была ими выдвинута собственная программа, состоящая из нескольких пунктов: ликвидация районов бедноты; бесплатное обучение, начиная с детских садов и кончая университетами; бесплатные квартиры для нуждающихся; ликвидация тюрем для малолетних преступников и замена их сельскохозяйственными и промышленными интернатами; представительство восточных этнических групп во всех государственных органах страны.

Среди всего прочего, они также протестовали против той поддержки, которая предоставляется русской алии, ссылаясь на то, что, в свое время, выходцы из стран Ислама такой поддержки не получали. "Черными пантерами" выдвигался, например, такой лозунг: "Если сионизм означает алию за счет израильской бедноты, то мы против сионизма". В 1973 году "черные пантеры" выставили свой список на выборах в Кнессет, но успеха не имели. Лишь на выборах в Гистадрут они получили определенное количество голосов, но в общем, можно сказать, что серьезной поддержки они не получили даже в кварталах бедноты. За всем этим, однако, нельзя не видеть широкого брожения, которое в известных условиях может разгореться в пламя, если принять во внимание застойное положение конфликта.

5.

Можно и нужно поставить вопрос в более широком плане: что представляет собой собравшийся из многих стран народ с различным уровнем культуры, различным образом жизни и множеством совершенно различных этнических особенностей? Нация это или "Вавилонское столпотворение"? Мы уже говорили о неповторимом своеобразии еврейского

народа, не укладывающегося ни в какие конвенциональные формулы.

Нации складываются различно. Европейские народы консолидировались в войнах, под влиянием мощных культурных течений и католичества. Русский народ сформировался под влиянием соседних полуварварских народов, на него наложили неизгладимый отпечаток татарское иго, безграничные пространства его страны.

Евреи сложились как народ более всего под влиянием десяти заповедей, главная из которых — "не убий". Это была новая религия. Фактически, евреи превратились в идеологическую нацию, единственную среди народов мира. Такой она остается и по сей день.

Однако во всем этом нет ответа на жгучую проблему этнических противоречий в современном Израиле. Существует ли вообще ответ на этот вопрос? История развивается не по заказу различных идеологий, политиков и государственных деятелей, нередко она создает действительно тупиковые ситуации. Но время выступает в роли великого врачевателя и, если цивилизация не погибает, то всегда находится какой-нибудь выход, плохо поддающийся прогнозам.

Националистически настроенные люди обычно ссылаются на то, что еврейский народ в семье других народов нашей планеты выделяет мощный духовный и интеллектуальный порыв. Возможно, это и верно. Но помогает ли это преодолевать раздирающие государство латентные этнические противоречия, угрожающие самому единству народа?

Обычно говорят: "Моральный протест против этнической разобщенности не должен прекращаться ни на день". Что ж, и это верно. Так же, как верно и то, что политика вспомоществования, помноженная на своекорыстный поиск голосов избирателей, мало что может дать.

Иждивенчество развращает человека, какими бы мотивами оно ни прикрывалось. Слова об общенациональной судьбе и сионистских идеалах сами по себе еще ничего не значат, если за ними не стоит государственная мудрость. А государственная мудрость — это способность смотреть правде в глаза,

правде о том, что существуют не один, а два Израиля, разделенных глубокой социально-этнической пропастью. Лукавое и ханжеское замалчивание этого лишь углубляет пропасть.

В Книге Исхода сказано: "Будете у Меня царством священников и народом святых". Не случайно здесь сказано — "будете". Достижимо ли это — нам не дано знать, но путь к социальному идеалу может быть бесконечно долг. Это — путь постоянного и неослабного стремления к преодолению ограниченности и себялюбия, заложенных в человеке, преодоление центробежных, эгоистических тенденций, столь характерных для еврейской истории. Пока еврейский народ станет "народом святых" /станет ли?/, высшей его задачей является единство в рамках государства Израиль.



ТРЕПЕТ И МУКИ АКТЕРА

*Интервью с Галиной ВИШНЕВСКОЙ
Ведет Белла ЕЗЕРСКАЯ*

22 года безраздельно царила Галина Вишневская на сцене Большого театра — феноменальный случай сценического долголетия. И "ушла" в зените мировой славы, навсегда оставшись в памяти подлинных ценителей искусства, поклонников своего неповторимого таланта.

Об "уходе" Вишневской из Большого театра, спровоцированном советской властью, на Западе писалось много. Фактически, это была месть Вишневской и ее мужу Мстиславу Ростроповичу за то, что они предоставили приют в своем доме Солженицыну. Этот классический случай произвола со стороны режима получил свое логическое завершение, когда Вишневская и Ростропович были лишены советского гражданства.

Местом своего постоянного жительства они избрали Париж, но, по меньшей мере, два раза в году Галина Вишневская бывает с концертами в Соединенных Штатах. Минувшей осенью состоялся концерт певицы в "Карнеги Холл," прошедший с огромным успехом. После концерта Мстислав Рост-

ропович представил меня жене. И вот я снова — год спустя — в знакомой квартире на 66 улице; теперь в ней царит порядок — ощущается присутствие хозяйки. Отныне квартира будет принадлежать старшей дочери Ольге и ее мужу, молодому пианисту Александру Посканову. Я вижу Вишневскую в роли матери, может быть, главной роли ее внесценической жизни, на которую у нее раньше не оставалось времени. Все силы отдавались сцене. Впрочем, теперь Галина Вишневская уже вне театра, вне привычного образа жизни. Как она пере-несла эту перемену?

Г. В. Я на сцене 35 лет. Из них — 22 года — на сцене Большого театра. Это мой единственный театр, по сути — второй дом. Я очень мало гастролировала. При таком сравнительно оседлом образе жизни велика степень привязанности к своему театру. Лишиться этого не так-то легко.

Б. Е. Почему Вы мало гастролировали? Ведь это зависело, не правда ли, от Вас?

Г. В. Да. Я делала в театре все, что мне хотелось. По Советскому Союзу я не любила гастролировать из-за очень низкого, почти любительского уровня провинциальных оперных театров, из-за ужасных бытовых условий. Угнетала нищета и убогость провинциальной жизни. Все это было очень утомительно. Я предпочитала петь в концертах в Ленинграде, Москве, ну, конечно, и за границей. На гастроли за границу я стала выезжать с 1955 года. В Америке дебютировала в 1960 году, в "Карнеги Холл". Когда я выхожу на эту сцену, меня и сейчас охватывает волнение. А ведь прошло уже почти 20 лет! Помню, я пела тогда с оркестром под управлением Кирилла Кондрашина, известного дирижера, который совсем недавно стал невозвращенцем. Еще один!

Б. Е. У Вас есть теперь возможность сравнить структуру западного и советского театров. В чью пользу это сравнение?

Г. В. В пользу советского театра — если говорить о структуре. Советский оперный театр — я говорю о Большом театре /периферийные не в счет/, — это прежде всего театр ансамбля. Это значит, что даже проходной, ординарный спектакль выстроен режиссерски, имеет четко выраженную концеп-

цию, тщательно подобранных исполнителей, декорации и костюмы. Иными словами, спектакль состоится даже если в нем не заняты ведущие силы. На Западе иначе. Здесь есть "звезды", но нет постоянной труппы. В спектакле участвуют гастролеры, которые разъезжаются через месяц после премьеры. Их заменяют другими, рангом ниже — и от спектакля ничего не остается. Ибо он был рассчитан на других актеров. Рассчитан на иные творческие индивидуальности. Здесь взаимозаменяемость невозможна, это творческий процесс. В театре постепенно умирает Личность Актера. И вместе с ней умирает опера.

Б. Е. Умирает...

Г. В. Вы не ослышались. Опера умирает, это мое убеждение. Происходит кризис жанра. В этом есть определенная закономерность. Очень изменилась жизнь. XX век! Фантастические скорости помогают преодолевать расстояния за считанные часы. Актер вечером поет в Нью-Йорке, утром он уже в Париже, Токио или еще где-то. В машине, по дороге из аэропорта, загримировался, выскочил на сцену, запыхавшись, в первом акте кое-как распелся, во втором уже поет, слава тебе Господи. Где же тут святое искусство? Я так не могу. Я привыкла выходить на сцену с трепетом. Для меня это всегда — событие. Я чувствую огромную ответственность перед зрителем. Я должна прийти в театр задолго до спектакля. Внутренне, психологически подготовиться к выходу на сцену. Поймите: иначе нет смысла петь. Опера такой жанр, что если фанатически не верить в нее, не служить ей, она становится просто смешной. А то, с чем я столкнулась на Западе,— это не спектакль, а скорее концертное исполнение в костюмах.

Б. Е. Стремитесь ли Вы на Западе получить для себя постоянный театр?

Г. В. Нет, не стремлюсь. Я всегда отстаивала свои принципы в творчестве и не могу им изменить. Нигде и никогда. Я не люблю случайных партнеров, случайных дирижеров. Считаю, что плохой режиссер может загубить спектакль, сплошь состоящий из одних "звезд". В чем-то я понимаю

западных продюсеров. У них тоже нелегкая жизнь. Это ужасно, когда из-за одного исполнителя срывается спектакль. Нет ничего хуже, чем зависеть от случайности или стечения обстоятельств. Но и я не хочу быть жертвой сложившихся традиций и ограничений. Это не капризы, поймите меня правильно. Мои конфликты с "Метрополитэн Опера" начались из-за костюма. Меня пригласили петь Аиду. Это было в 1961 году. Я, естественно, привезла с собой свои костюмы, сшитые на меня — удобные, легкие, красивые. Но одеть их я не могла. Оказалось, что в "Метрополитэн Опера" правило: все исполнительницы одной и той же партии должны быть одеты, как близнецы. В одинаковые костюмы. Чтобы лучший костюм не способствовал большему успеху. Надели на меня что-то тяжелое, огромное, неуклюжее. После этого я не пела в "Метрополитэн" 15 лет. В 1975 году мне предложили спеть "Тоску". И снова повторилась та же история. Отчаявшись, я отказалась петь за два дня до премьеры. Тогда, в виде исключения, мне разрешили... сшить платье — за свой счет, разумеется. Это платье из желтого шифона было неповторимо красивым. Правда, оно обошлось мне в 2 тысячи долларов, но суть не в этом. Успех тогда был огромный, газеты поместили восторженные рецензии, но от участия в "Борисе Годунове" в следующем сезоне я отказалась. Зачем? Снова начнется та же нервотрепка. А платье из желтого шифона я больше ни разу не надела — после спектакля разорвала и выбросила.

Б. Е. Вы не жалеете о том, что испортили отношения с "Метрополитэн"?

Г. В. Не знаю. Вероятно, я перешла какой-то жизненный и творческий рубеж, когда можно было мириться со всеми этими административными нелепостями.

Б. Е. А концерты?

Г. В. О, концерты — совсем другое дело, тут я сама себе хозяйка и делаю, что хочу. Для меня очень важно — делать то, что я хочу.

Б. Е. Сделать концерт труднее, чем спеть оперную партию?

Г. В. Несравненно. Высшей формой пения считается кон-

цертное. Поэтому так мало хороших концертных певиц. Если ты обладаешь голосом, сценической внешностью и некоторыми актерскими данными — успех в опере тебе обеспечен. Иное дело — в концерте. Здесь, помимо всего прочего, надо быть личностью. Надо обладать интеллектом, высокой культурой, знать не только камерную, но и симфоническую музыку. Иначе не заставишь публику слушать себя в течение целого вечера. Одну. Без партнеров и антуража. В опере ты можешь отдышаться, пока поет партнер. В концерте спрятаться не за кого и отдохнуть некогда. И потом — концерты дают возможность полного самовыражения, что для меня особенно важно.

Б. Е. Вы построили свой концертный репертуар исключительно на русской камерной классике.

Г. В. Русское искусство — моя жизнь. Я насильственно оторвана от моего народа, моего языка и должна компенсировать эту потерю. Я хочу нести со сцены русское слово и русскую музыку. Тем более, что ни один народ мира не имеет такого богатейшего концертного репертуара, как русский. Я хочу познакомить Запад с этим репертуаром.

Б. Е. Изменилось ли что-либо в Вашей исполнительской манере с тех пор как вы оказались на Западе?

Г. В. Очень многое. Я должна была найти новые сценические и вокальные приемы, чтобы сразу же, с первого звука, ввести слушателей в атмосферу романа. Ибо для большинства язык непонятен и само произведение незнакомо. Пришлось многое пересмотреть в стиле и интерпретации каждой вещи. Подавать ее более цельно, что ли...

Б. Е. Более укрупненно?

Г. В. Да, пожалуй. Жертвуя деталями, непонятными публике, акцентируя главную мысль. Это очень трудно — заставить почувствовать атмосферу романа. Особенно трудны в этом отношении камерные лирические вещи, которые в общем — ни о чем... Ну как, например передать американскому слушателю обаяние романа Римского-Корсакова — "Не ветер вея с высоты"... Это ведь пейзажная лирика, при этом глубоко национальная. Или другой романс — "Редеет облаков ле-

тучая гряда". В исполнении тут нет мелочей, все важно: сила звука, окраска голоса, фразировка, жест, мимика.

Б. Е. Расскажите, как Вы делали "Песни и пляски смерти" Мусоргского, столь восторженно принятые в "Карнеги Холл"

Г. В. Ну, в этом случае передать содержание легче, ибо оно глубоко драматично и очень выразительно. "Трепак" — танец пьяного, горемычного крестьянина, замерзающего в лесу; "Колыбельная" — смерть вырывает больного ребенка из рук матери; "Серенада" — смерть под видом рыцаря-трубадура усыпляет молодую девушку. И, наконец, смерть в образе полководца... Может быть, в силу своей "понятности" "Песни и пляски смерти" стали моим первым крупным успехом на Западе.

Б. Е. Почему Вы выбрали именно этот цикл?

Г. В. Во-первых, из-за гениальной музыки. Из-за сложности исполнения. И, потом, у меня свои отношения со смертью. Этот цикл словно написан обо мне. Я видела смерть совсем близко. Можно сказать, что я с ней на "ты".

Б. Е. Вы были при смерти? Когда?

Г. В. Я пережила ленинградскую блокаду; моя бабушка умерла от голода, а я чудом выжила. А в 21 год я заболела скоротечной чахоткой. Врачи приговорили меня к смерти. Я не сопротивлялась, мне было все равно. Я таяла с каждым днем, угасала, как больная девушка в "Серенаде"— помните? И вдруг... Что-то произошло. Словно кто-то меня толкнул. Я почувствовала, что я хочу быть. Хочу жить, хочу петь. И я стала бороться. И осталась жить. Но врачи мне строго-настрого запретили петь — процесс мог открыться снова. Но жить и не петь я не могла. Через полгода я поступила в Большой театр. Дальше — Вы знаете.

Б. Е. Я знаю. А желающие подробнее познакомиться с Вашей биографией могут навести справку... ну хотя бы в "Музыкальной энциклопедии".

Г. В. Да, это, пожалуй, единственное издание, откуда меня не выкинули. Не переиздавать же, в самом деле, эн-

циклопедию. Зато ни в одной газете, ни в одном журнале, ни в одной книге, вышедшей после 1975 года, вы не найдете моего имени. Даже в юбилейном альбоме, роскошном издании, выпущенном к 200-летию театра. 22 года проработать в театре на ведущих партиях, быть Народной артисткой СССР, создавать славу театру во всем мире — и вот благодарности. Ни слова. Ни намек. Вишневская? Не было такой!

Б. Е. От кого Вы унаследовали свой голос?

Г. В. Не знаю. Я не помню своих родителей. Меня воспитала бабушка со стороны матери. Она была цыганка. Во мне много цыганской крови. Может быть, отсюда и моя интуиция. Безошибочное чутье. Я очень верю первым впечатлениям. К сожалению /реже — к счастью/, они потом подтверждаются. Я нелегко завязываю знакомства, далеко не так открыта, как мой муж, который бросается к людям с распростертыми объятиями и часто жестоко разочаровывается. Мои предостережения мало помогают. И вообще мы с ним совершенно разные люди, и вот живем вместе уже 25 лет.

Б. Е. Как вы познакомились?

Г. В. Это было в Праге, на одном из фестивалей. Нам было по 27 лет, но он был холост, а я уже была 10 лет замужем. До встречи мы никогда не слушали друг друга. Ну, он-то обо мне слышал, в 27 лет я была уже знаменита. А я о нем даже и не слышала. Мы вращались в искусстве на разных орбитах. У него тогда еще не было имени, он только восходил. Я не слишком разбираюсь в инструментальной музыке, для меня виолончелист был оркестрантом: сидит себе в оркестре, со своей виолончелью внизу, в яме. А я — наверху. К тому же, он был такой молодой /мой первый муж был старше меня на 22 года!/ — прямо мальчишка, и худущий такой очкарик с тонкой шеей, в костюме, болтающемся на нем, как на вешалке. Я даже стеснялась первое время с ним показываться на людях: я-то была красивой женщиной и знала это.

Б. Е. Да, но Вы не знали, что вышли замуж за РОСТРОПОВИЧА.

Г. В. Что да, то да, я и имя его долго время не могла выговорить: М-с-т-и-с-л-а-в Л-е-о-п-о-л-ь-д-о-в-и-ч Р-о-с-т-р-о-п-о-в-и-ч. Это же язык можно сломать!

Б. Е. Зачем же Вы вышли за него? Худой, никому неизвестный виолончелист, да к тому же с таким неудобнопрозвонимым именем?

Г. В. А попробуй не выйти! Он меня и не спрашивал. Через три дня привел к маме и сказал: "Мама, знакомься, это моя жена!"

Б. Е. Но ведь вы же были замужем...

Г. В. А его это не интересовало. Он мне даже домой за вещами не дал съездить. А вообще, если серьезно: я влюбилась в него, в его блестящий ум, интеллект, необыкновенную талантливость. И хотя он до сих пор ревнует меня, как мальчишка, — а театр — это всегда поклонники, цветы, атмосфера влюбленности — я Вам должна сказать, что тягаться с ним трудно. Своей незаурядностью он как бы создает вокруг меня невидимый барьер, надежно защищающий его от соперников. Мы работаем вместе уже 25 лет. Это уникальный дуэт. У нас абсолютное взаимопонимание. Вообще, он феноменально одаренный музыкант.

Б. Е. Я несколько раз видела его за дирижерским пультом. Он дирижировал "Манфредом" Чайковского, "Военным рекевиемом" Бриттена. Это было потрясающе! Вчера я видела его за фортепиано. Это было неожиданно — и прекрасно. И только его виолончель я никогда не слышала.

Г. В. Это ужасно, что он забросил виолончель. Я тоже так считаю. Такой виолончелист. Боже мой?! Когда он берет в руки инструмент — у меня на глазах появляются слезы. Он человек увлекающийся, страстный. Ни в чем не знает меры. Всю жизнь мечтал иметь оркестр — и вот получил. А симфонической музыке нужно отдать себя всего, всю жизнь, без остатка. Но он обещал мне вернуться к виолончели. Знаете, в Европе он играет довольно много, но в Америке он связан с оркестром. В Советском Союзе ему оркестра не давали — под тем предлогом, что оркестранты не хотят с ним работать. Такая наглая ложь.

Б. Е. Кто был инициатором Вашего отъезда? Насколько мне известно, организованной травле подвергался, в основном, он.

Г. В. Да, он принял на себя основной удар. Они за него принялись круто: отменяли гастролы — то зал занят, то оркестр, то еще что-нибудь. Низвели до уровня провинциального музыканта. Когда отменили начатую уже запись "Тоски" — это было последней каплей, переполнившей чашу. Я сказала: садись и пиши заявление на имя Фурцевой. И он сел и написал. А сам бы ни за что не решился на такой шаг. Только по ночам плакал тихонько на кухне, чтоб меня не разбудить. Ни за что бы не уехал. Не представлял себе жизни вне России. Да мы и не думали оставаться за границей. Хотели просто как-то пережить "смутное время", переждать — авось что-либо изменится к лучшему. Наивно, конечно.

Б. Е. Как мотивировали /если мотивировали вообще/ отмену записи "Тоски"?

Г. В. А никак. Все произошло просто: группа моих партнеров и коллег — Атлантов, Мазурок, Образцова, Милашкина и Нестеренко — пошли в ЦК к Демичеву с требованием не допустить "политического преступника" Ростроповича дирижировать оркестром Большого театра. И все. Один акт записать успели, больше — не разрешили. Вот что могут сделать "простые советские люди"! Марионетки. Продать ближнего за партийную подачку.

Нет, жить в Советском Союзе унизительно, оскорбительно, непристойно. Ведь подумайте, как исказились моральные критерии: если кто-то доносит на ближнего, то это норма. Потому что донос всячески поощряется. А если не доносит, то это уже почти патология. Мы не донесли на Солженицына и прослыли героями. Подумайте только, стали "героями" оттого, что не выгнали на улицу человека, который доверился нам.

Б. Е. А какие у вас отношения с Солженицыным сейчас? Общаетесь ли вы хоть изредка?

Г. В. Слава ездил к нему в Вермонт, когда был в Штатах. Я не была, но знаю, что меня тепло встретят в этой семье. Если выберу время — приеду. К Солженицыну нельзя приме-

нять обычные мерки. Это человек великой цели, ему некогда вести светский образ жизни, и я не претендую на дружбу с ним. Мы просто по-человечески ему помогли.

Б. Е. Вот Вы уже пять лет здесь. Можно, как говорят, остановиться, оглянуться. И позволить себе небольшую ретроспективу. Что Вас больше всего угнетало в Советском Союзе?

Г. В. Вранье. Вранье везде и всюду, от рождения человека до самой его смерти. Страна опутана ложью. Включил утром радио, вечером телевизор, развернул газету — и полилось и полилось. Оболванивают людей, чтоб не знали, что может быть иначе. И люди привыкают к этой лжи. К этой тюрьме. Американцам этого не понять. Они родились в свободной стране.

Б. Е. Они пытаются понять, но, по-моему, безуспешно...

Г. В. Может быть, они — бывшие эмигранты и беженцы в каком-то там колоне — могут еще понять голодного. Но всю степень унижения, которой подвергается любой советский человек, если только он не пляшет под партийную дудку, им, конечно, не понять. Ну как им объяснить, что советскому человеку не принадлежат ни собственные силы, ни собственные вещи, ни собственная жизнь? Что музыкант не может распоряжаться своим инструментом, выезжая из страны, а художник должен выкупить у государства свои же собственные картины за огромные деньги? Как им объяснить, что в стране нет никакой организации, защищающей права человека? Что никому и в голову не придет просить у государства компенсацию за потерю работы? Что профсоюзы — это фикция, что они заодно с государством — против человека? Нет, для того, чтобы это понять, нужно родиться в этой стране. Иностранец, приезжающий на месяц в туристическую поездку или командировку, конечно, ничего понять не может, хотя ему кажется, что он все видит и понимает. Да что там говорить — сам факт, что уезжают /или бегут/ такие люди, как дипломат Шевченко, скульптор Неизвестный, дирижер Кондрашин, фигуристы Белоусова и Протопопов, танцов-

щик Годунов — то есть люди, добившиеся для себя максимально высокого положения, говорит за себя.

Б. Е. Вы еще работали, когда в труппу пришел Годунов?

Г. В. Конечно. Я очень хорошо помню его приход. Он был молод, полон энергии, первые же спектакли принесли ему огромный успех. И вдруг — снимают с заграничных гастролей. Почему — никто не знает. Кто-то написал анонимку. Обычное дело. И вот труппа едет за рубеж, а первый танцовщик остается в Москве. И так повторялось несколько раз. Один раз его чуть ли не под конвоем привезли в Париж на один-единственный спектакль. Агенты стояли за кулисами. После спектакля его буквально под руки привели к самолету, который летел в Москву. А труппа полетела дальше. Легко это вынести, как Вы думаете? Неудивительно, что при первой же возможности он сбежал.

Б. Е. Расскажите, пожалуйста, о Ваших отношениях с Шостаковичем.

Г. В. С Шостаковичем была связана вся моя творческая жизнь. Впервые услышав мое исполнение "Песен и плясок смерти", он потом оркестровал их для меня. Он создал замечательный сатирический цикл на стихи Саши Черного — для моего голоса, написал цикл на стихи Блока — и все это посвятил мне. Я была первой исполнительницей в его 14 симфонии для сопрано-баса. Снялась в фильме-опере "Катерина Измайлова" — по мотивам рассказа Лескова "Леди Макбет Мценского уезда".

Шостакович не только обогатил меня пониманием новой музыки — он дал мне новое ощущение классики — через современность. Я считаю Шостаковича величайшим композитором всех времен и счастлива, что мне выпало многолетнее дружеское и творческое общение с этим великим человеком. Мы были дружны семьями, жили в Москве рядом и наши дачи в Жуковке тоже были рядом.

Б. Е. Сейчас много говорят о мемуарах Шостаковича. Что Вы думаете по этому поводу? Читали ли Вы мемуары?

Г. В. Я читала эту книгу в рукописи на русском языке — в Париже. Она произвела на меня странное впечатление. Мне

она показалась собранием историй, более или менее известных всему музыкальному миру. Если бы эта книга была написана от имени Соломона Волкова как автора, я приняла бы ее совершенно иначе. Но эти истории Волков вложил в уста Шостаковича и этим измельчил, исказил его духовный облик. Я лично знала совершенно другого человека — не того, который встает со страниц этой книги. Дмитрий Шостакович — титаническая и глубоко трагическая фигура не только в русском, но и в мировом искусстве. Мы все умрем, и память о нас исчезнет, а он будет жить вечно. Поэтому я считаю, что мы, его современники, все, кому выпала честь жить с ним в одну эпоху, должны относиться к его памяти предельно осторожно и с большим уважением.

Я убеждена, что мы еще прочтем мемуары Шостаковича, написанные им самим. Я уверена, что они где-то лежат и ждут своего часа. Он не мог уйти из жизни, не сказав своего последнего слова, — гений, затравленный советской властью, которую ненавидел всеми силами своей души.

Б. Е. Сейчас Вы — парижанка. Большую часть жизни Вы прожили в Москве, родились в Ленинграде. И наездами, довольно часто, бываете в Нью-Йорке. Каково Ваше отношение к этим городам?

Г. В. Москву я не любила никогда. Я жила там, потому что работала. Душой я всегда была в Ленинграде, городе моего детства. Для меня огромное значение имеет архитектурный, эстетический облик города — в этом смысле Ленинград неповторим. Уезжая, я очень боялась, что буду тосковать именно по Ленинграду.

Б. Е. И тоскуете?

Г. В. Иногда. Все-таки много лет прошло с тех пор, как я уехала оттуда. Как будто все это было в чьей-то чужой, не моей жизни. Нью-Йорк для меня слишком шумный город.

Б. Е. А Париж?

Г. В. О, Париж я обожаю. Стоит мне в аэропорту ступить на парижскую землю, как у меня поднимается настроение. Когда я возвращаюсь в Париж, я возвращаюсь домой.

своими глазами читала в "Правде" утверждение этого рода, преподнесенное не со стыдом, а фанфарно. Лысенковщина ни в малейшей степени не заслуживает имени ламаркизма. Ламаркизм — благородное учение. Прогресс — не следствие борьбы за существование, взаимного уничтожения. Он — изначальное свойство живого. Способность самосовершенствоваться — неотъемлемый атрибут живого.

Я хорошо знала ламаркистов. Александр Александрович Любищев и Павел Григорьевич Светлов — мои друзья. Лев Семенович Берг — мой отец. Борис Михайлович Кузин известен мне только по литературе, у нас есть общие друзья, он фигурирует в книге Надежды Яковлевны Мандельштам. И у меня чувство, как будто мы с ним знакомы. Ни один из них не стал под знамена лысенковщины. Оно и понятно. В дарвинистскую эру диктата они были антидарвинистами. В антинаучную эру — они оставались учеными.

Раиса БЕРГ

ПОВЕСТЬ О ГЕНЕТИКЕ

Вместо предисловия

Великие слова прозвучали однажды при обстоятельствах, к тому не предрасполагавших: "Прости им Господи, ибо не ведают, что творят". Знали, что творят, те, кто уничтожал науку и ее лучших представителей, кто исповедовал новое "учение" Лысенко — коронованного отпрыска жандарма и знахарки — рожденного послереволюционной реакцией. Предательство и террор стояли у его колыбели. Чтобы выдвинуться, занять пост, нужны были не научные заслуги, не знание истины, а безусловная готовность предать ее. Так было и так остается по сей день.

Доминирующее положение в крысиной иерархии занимает тот, перед кем умолкают. На промежуточных ступенях генератором власти может стать только рычаг, нажимаемый сапогом вышестоящего.

Никто из прислужников Лысенко не мог отговориться незнанием, они ведали, что творили, их оправданием была необходимость подчиниться силе — боязнь за свою шкуру.

Ламарк сформулировал свою теорию эволюции за сто сорок лет до августовской сессии Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных Наук имени Ленина, которая заседала с 31 июля по 7 августа 1948 года и впервые в истории провозгласила ошибочную предпосылку его великой теории — наследование признаков, приобретенных в индивидуальном развитии — государственной доктриной. Я сама

ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ БЕРГ

В 1922 году мой отец написал книгу "Номогенез, или эволюция на основе закономерностей". Номогенез он противопоставил тихогенезу, как он называл теорию Дарвина, проижедая название от греческого слова "тихе" — случай. Он говорил мне, что теория Дарвина вредна для человечества, так как в применении к человеку эта теория санкционирует борьбу как фактор прогресса.

Нужно, как это делает Кропоткин, противопоставить теорию взаимопомощи этой антигуманистической концепции. Я говорила, что ратовать нужно не против теории, а против ее применения в той сфере, где она неприменима, и что борьбу за существование Дарвин понимал не в буквальном смысле слова, а как соревнование видов. Соревноваться же можно и во взаимопомощи. Выживают те, где взаимопомощь, включая заботу о потомстве, наиболее совершенна. Взаимопомощь — это средство победить в борьбе. Такого Лев Семенович и слышать не хотел.

Между тем, в двадцатые годы учение Дарвина не подлежало критике. Дарвин был причислен к лику святых, фигурировал в официальном иконостасе марксизма-ленинизма. На Льва Семеновича посыпался град нападок. В особенности

усердствовал малограмотный философ И. И. Презент. Тот самый Презент, который сперва изничтожал ламаркизм с позиций дарвинизма, а потом, переметнувшись в лагерь Лысенко, стал изничтожать дарвинизм с позиций ламаркизма, точнее, с позиций "творческого дарвинизма".

Научная критика велась в стиле политического доноса. Ярлык за ярлыком навешивался на провинившегося: он мракобес, мракобес... Его учение — поповщина. Отрицание роли случая в эволюции — замаскированная проповедь библейского мифа. Критик не искал логических или фактических ошибок, он срывал маску с классового врага. Сегодня звучала громовая речь, завтра перед дверью останавливался "черный ворон".

Судьба миловала Льва Семеновича. Он был не только биолог-теоретик, но и крупнейший зоолог — специалист по рыбам. В 1927 году он был избран членом-корреспондентом АН СССР по Биологическому отделению. Но главным делом его жизни была география. Он создал теорию ландшафтно-географических зон и воссоздал географию как самостоятельную отрасль знаний, описав зоны Советского Союза.

Будь планирование хозяйства не фикцией, а реальностью, книга Л. С. Берга "Ландшафтно-географические зоны СССР" была бы настольной книгой правителей, а ему были бы предоставлены широчайшие возможности для организации научных исследований.

В 1939 году Л. С. Берг был выдвинут в академики по Географическому отделению АН СССР. И тогда в "Правде" появилась статья под заголовком "Лжеученым нет места в Академии Наук". Другим лжеученым был Николай Константинович Кольцов, тоже член-корреспондент АН СССР, генетик, цитолог, ученый мирового ранга, блестящий организатор, педагог. Сила мысли Н. К. Кольцова поразительна. Он на несколько десятилетий опережал свое время.

Первым он постиг матричный принцип самовоспроизведения генов. Он понял, что через хромосому не идет ток вещества, что она не делится, не расщепляется, а строит свою копию и отторгает ее от себя. Как никто, Кольцов умел связы-

вать результаты генетических исследований с микроскопическими картинками и намечать новые пути в науке. Так вот, этим двум лжеученым — Бергу и Кольцову — не было места в Академии Наук. В Академию они, само собой разумеется, не были избраны. Да им, думаю, было не до избрания: хорошо, что не арестовали.

Л. С. Берг высоких постов не занимал; увольнять его было неоткуда. Н. К. Кольцов был изгнан с поста директора организованного им Института Экспериментальной Биологии и вскоре, в январе 1940 года, скоропостижно скончался.

Жена его, Мария Полиэктовна, покончила с собой. Их хоронили вместе. Отлично помню, как у открытых гробов Н. П. Дубинин клялся навечно сохранить память о своем учителе. Струнным тенором он медленно говорил:

"Мы навсегда сохраним память об этой жизни, об этой смерти — память, которая учит жить".

Что-то плохо она научила Дубинина. Почитайте его книгу "Вечное движение" — политический донос на мертвых, где Кольцову уделено особое внимание.

Статья в "Правде" против Кольцова и Берга была подписана академиками Бахом, Коштоянцем, Нуждиным, Косиковым, Дозорцевой. Она содержала чудовищные обвинения, ничего общего с действительностью не имеющие. Отца обвиняли в симпатии к гитлеризму. Л. С. Берг за короткое время страшно постарел. У него начали выпадать зубы.

Но все же Лев Семенович был избран академиком семь лет спустя. Свершилось это чудо совершенно случайно. Его выдвигали и в 1943 году и еще раз, спустя три года, но шансы на избрание были нулевые. И вот, в 1946 году на одно место по Географическому отделению было выдвинуто два кандидата — Берг и Баранский, и тут случилось нечто неслыханное. Баранский от избрания отказался.

"Никто не может быть академиком, если Берг не академик", — писал этот удивительный человек в Президиум Академии Наук. Берга избрали. А Баранский понес кару за свое "отречение" и не был избран никогда.

Вскоре после августовской сессии ВАСХНИЛ произошла встреча двух академиков — Берга и Презента. Презент был в зените славы. Он заведовал Кафедрой дарвинизма ЛГУ, вершил дела Московского университета, института генетики АН СССР. Он был действительным членом ВАСХНИЛ. Философ, профессор, агроном.

Они встретились в международном вагоне поезда Ленинград—Москва. Л. С. Берг ехал на заседание в Академию Наук. Академики обязаны были присутствовать на общих собраниях Академии. Везли их по первому классу, за казенный счет. Купе международного вагона имеет два спальных места и туалет в отличие от четырехместных купе следующей категории мягких вагонов. Международные вагоны для маршалов, академиков, членов правительства — для тех, за кого платит Советское государство — единственная в мире страна, где, по выражению Н. В. Тимофеева-Ресовского, имеется вспомоществование богатым. Соседом Льва Семеновича был высокий железнодорожный чин, судя по мундиру, которые тогда носили.

Только отъехали от Ленинграда, как в купе вошел человек невысокого роста, по виду одессит. "Здравствуйте, Лев Семенович! Вам часто приходится ездить?" — очень любезно и живо обратился к нему вошедший. "Да, — сказал Л. С. Берг, — хотя я избегаю этого". "А я половину ночей провожу в поезде — три дня в неделю в Москве работаю, а три дня — в Ленинграде". "Как это ужасно. Как же вы питаетесь? Все по столовым?" "Нет, у меня постоянный номер в гостинице в Москве, мне приносят обеды из ресторана". "Так ведь все холодное!" "Я разогреваю на плиточке", — сказал незнакомец. Вечерний разговор на этом закончился.

Утром он вошел в купе снова. "С добрым утром, Лев Семенович!" Снова завязался разговор. Незнакомый спросил, как относится Л. С. к полезающим лесонасаждениям. Л. С. сказал, что защищать нужно реки и их верховья, что Анучин, Воейков, Докучаев ратовали за это. Незнакомый спросил, как относится Л. С. к рыболовству на Волге, но тут подъехали к Москве и он заторопился. Тогда высокий желез-

нодорожный чин с большим пиететом обратился к Л. С.: "Вот, оказывается, какие у вас знакомые! — воскликнул он с удивлением.

В жизни отец не имел того "орлиного вида", который получался у него на некоторых портретах, но В. В. Сахаров говорил про него: "Даже на Университетской набережной Невы за три версты видно, что профессор идет!"

"А кто это такой?" — спросил Л. С. "Это же сам Презент!" — воскликнул железнодорожный чин.

Отец прокомментировал свой рассказ цитатой из Гете, словами Мефистофеля после его разговора с Богом: "Es ist so nett von so einem hohen Herren so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen". /"Как это мило со стороны Бога говорить так по-человечески с чертом"/. "Боже тебя упаси рассказывать обо всем этом кому-либо", — сказал отец. Но разве утратишь! И я рассказала одному физиологу, Э. Ш. Айрапетьянцу /ученику А. А. Ухтомского/, профессору из выдвинутых, — мне теперь стыдно, что я с ним любезничала. Он сказал, что это в высшей степени интересный случай для познания физиологии высшей нервной деятельности. "Лев Семенович не мог не знать Презента раньше, — объяснил Айрапетьянец, — он заседал вместе с ним в Большом Ученом Совете Ленинградского университета. Но он не замечал его, а если замечал, забывал. Презент — это была угроза гибели. Это явление по науке называется запредельным охранительным торможением. И сколько бы раз Лев Семенович ни встречался с Презентом, он не узнает его никогда".

Я сказала ему, что отец просил никому не рассказывать. Через несколько дней мы шли с отцом по улице и встретили Айрапетьянца. "Лев Семенович, — воскликнул он, улыбаясь своей сияющей улыбкой, — расскажите, как вы с Презентом встретились, я студентам на лекции этот случай буду рассказывать, не называя вашего имени, конечно. Мне Раиса рассказала". Он явно подводил меня, но отец этого не заметил и хотел было рассказать, и тут выяснилось: в точном соответствии с анализом Айрапетьянца, Л. С. не мог вспомнить решительно ничего. "Забыл, — сказал он, — вот Раиса вам расскажет, она все помнит".

В 1971 году я рассказала эту историю Виктору Амазасповичу Амбарцумяну — астроному, академику АН СССР и Президенту АН Армянской ССР. Он начинал свою научную карьеру в качестве профессора Ленинградского университета и был вместе с Бергом и Презентом членом его Ученого Совета. Виктор Амазаспович сказал, что однажды, когда Презент выступал, Лев Семенович спросил его: "Кто это такой?"

Был еще один случай уникальной забывчивости Льва Семеновича. В 1945 году академики и члены-корреспонденты АН СССР во время празднования юбилея Академии Наук получали ордена. Л. С. был членом-корреспондентом, ему по чину полагался орден, хотя и не такой высокий, как выдавали академикам. Когда секретарь Президиума АН СССР Р. Л. Дозорцева поздравила его с получением ордена, он сказал ей: "Что значат эти наши ордена по сравнению с вашими — боевыми!" Ему и в голову не могло прийти, какой дьявольский смысл содержали его слова.

В прошлом Дозорцева была сотрудницей Н. И. Вавилова и Г. Меллера, однако переметнулась к Лысенко и в 1939 году была среди тех, кто подписал статью "Лжеученым нет места в Академии Наук". Ее участие в Великой Отечественной войне выразилось лишь в позорном, паническом бегстве из Москвы на казенной машине во время паники 16 октября 1941 года. Но ее ордена, полученные за верное служение антинауке, были поистине боевыми. Я попыталась открыть отцу глаза, кем на самом деле была Дозорцева. Но она так и осталась в его глазах Жанной Д'Арк Великой Отечественной войны.

Запредельное охранительное торможение, если говорить попросту, значило, что человеку отшибло память. Нужен был сталинизм, приправленный лысенковщиной, чтобы отшибить память и способность узнавать людей, какими обладал отец. Он был не только зоологом, но и палеонтологом — по одной косточке мог определить, что за рыба. О его памяти рассказывали легенды. Его исключительный дар запоминать — это была даже не память, а ясновидение.

В 1946 году вышел в свет первый том собрания сочинений "великого вождя и учителя всех народов" И. В. Сталина, и мы, сотрудники кафедры дарвинизма Московского университета, с ужасом прочитали, что Сталин, в ранней молодости едва закончивший духовную семинарию, имел мнение по поводу теории эволюции. Он писал, что спор между дарвинизмом и ламаркизмом не завершен, и что, по его мнению, победит ламаркизм. Мы поняли, что нам — сотрудникам Шмальгаузена и самому Шмальгаузену — пришел конец. Лысенко получил мандат на ликвидацию тех, кто не считал великими достижениями его знахарство. В 1948 году генетика была ликвидирована. Нечто постыдно-карикатурное стало на место науки. Но некоторые из положений этих бредовых построений, получивших правительственную санкцию, совпадали с тем, что было написано отцом в "Номогенезе" более четверти века назад: отрицание случая, наследование приобретенных признаков...

Избрание в Академию давало Льву Семеновичу широчайшие возможности пропагандировать свою теорию. Никогда автор "Номогенеза" не солидаризировался с победоносцами. Никогда он не сказал: "И я!" Кровавыми руками была достигнута их победа. Дарвинисты, с которыми полемизировал Берг, были его друзьями — Вавилов, Филипченко, Шмальгаузен. Расхождение во взглядах ничуть не мешало их дружбе. Они были убиты или повержены в прах, лишены не свободы слова, а самого слова. Их имена вымарывали из книг, упоминать их было запрещено. Свободы науки, свободы, которую отец ставил выше всего на свете, больше не существовало. Не было и людей. Не перед кем было отстаивать свою правоту. Возвысить голос — теперь означало совершить предательство по отношению к мертвым, к узникам. Жизнь стала ему ненавистной. Он умер.

Незадолго до смерти он сказал: "Я боролся против идеи естественного отбора. Теперь я вижу, что ошибался. Происходит отбор подлецов."

Лев Семенович был избран Президентом Географического Общества в 1940 г. Его предшественником был Николай

Иванович Вавилов — четвертый Президент со времени основания Географического Общества. Когда Вавилова арестовали, Президентом был избран Берг.

В 1947 году Географическое Общество праздновало столетний юбилей. Л. С. написал его историю. Специальную главу он посвятил великому географу, ботанику, агроному Н. И. Вавилову — четвертому Президенту. Цензура потребовала изъять. Л. С. отказался, сказал, что тогда книги не будет, и книга вышла. Неслыханная смелость, великая победа в сталинские времена. Никто не знал, что с Вавиловым. Знали, что арестован. А потом? Умер или отбывает срок? Не знал и Л. С. Берг. Каждую секунду автору такой книги грозил арест.

Пока он был Президентом, имя Вавилова не вычеркивали из всех книг, хранящихся в библиотеке Географического Общества и труды Вавилова не уничтожали. А когда в 1950 году отец умер, библиотека была закрыта и было велено заливать тушью имя преданного анафеме Президента.

Я часто бывала в архиве Географического Общества и, проходя мимо стеклянных дверей библиотеки, видела какую-то странную деятельность. А. Г. Грумм-Гржимайло, историк, сын известного путешественника объяснил мне, что происходит. Он весь был покрыт какими-то волдырями — так сказывалось нервное потрясение.

Помню, одну пресимпатичную старушку-библиотекаршу седую, как лунь. В то самое время, когда Грумм-Гржимайло покрылся волдырями, она стала полупрозрачной, на месте век — водянистые опухоли. Что-то в ней появилось от выеденного яйца. Она лично знала Вавилова, а знать его и не любить было невозможно. Ей надлежало вычеркивать его имя из всех книг, где оно было упомянуто. Что было бы с отцом, будь он жив?

В моей жизни арест Вавилова был поворотным пунктом. Я знала его лично. Общение с ним приподнимало над повседневностью, раздвигало границы бытия. Глядя на него, мы начинали понимать, что значит тютовское "небожитель" — не он был небожителем — вы, в его присутствии. А он был

прост до беспредельности. Его знал и любил весь мир. Он завоевывал сердца, и любовь эта переносилась на Советский Союз. Советскую Россию любили потому, что любили Вавилова.

Знаменитый американский ученый Герман Меллер — первый генетик, указавший миру на радиоактивную опасность, — работал в его институте по его приглашению. Он мне сказал: "Вавилов — это Петр Великий двадцатого века!" Это было и верно и неверно. Ради полноты сходства у Петра Первого нужно было бы отнять множество гнусных черт — тоже был из породы кровавых деспотов. Меллер, по-видимому, имел в виду только положительные свойства.

В 1942 году Вавилов был избран иностранным членом Королевского Общества Англии. Королевское Общество ограничивает число иностранных членов, избираемых во всех странах и по всем специальностям, пятьюдесятью.

Генри Дель — Президент Королевского Общества — говорил Юлиану Гексли, что известие об аресте и смерти Вавилова дошло до Общества только в 1945 году. Неоднократные просьбы сообщить место и время его смерти, посылаемые в Советский Союз по всевозможным каналам, оставались без ответа. Гексли рассказывает о Вавилове в книге "Наследственность. Восток и Запад. Лысенко и мировая наука", вышедшей в 1949 году. Он заключает повествование словами: "Такова была несчастная судьба одного из лучших ученых, какого когда-либо производила на свет Россия".

Убить Вавилова — значило наплевать в лицо мировому общественному мнению, оттолкнуть от себя своих доброжелателей, бесстыдно обнажить тиранию. Сквозь этот арест проглядывалось очень многое — пакт о дружбе с Гитлером, оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, удар в спину Польше, танки на чехословацкой земле, убийство Михозлса, Мейерхольда, Мандельштама, позорные столбы Ахматовой, Зощенко, Пастернака, Солженицына, Сахарова, процессы над писателями и аресты, аресты... Сталин, Хрущев, Брежнев. Арест и уничтожение Вавилова означали, что Советский Союз не нуждается больше в солидарности с прогрессивными силами

мира, не делает ставку на эффективность своей лживой пропаганды. Дипломатия отброшена в сторону за ненужностью.

История показывает, что зло не просчиталось. Насильники, заинтересованные в свидетелях, совершали преступление на глазах, в лучшем случае, притихшей толпы. Одним из притихших был мой отец. Десять лет он жил после ареста Вавилова. Моральный облик страны был на время спасен неисчислимыми страданиями войны с гитлеризмом и вынужденным альянсом с демократиями Запада. Победа деморализовала. Создание атомной бомбы в корне изменило моральный облик планеты. Помню, что отец говорил: "Атомная бомба не может быть создана нашей страной, нужны слишком большие средства". Он был неискоренимым идеалистом. Чтобы создать атомную бомбу, богатства не нужны были. Нужна была власть. Атомная бомба была создана при его жизни.

Отец умирал до дела врачей, до кровавого разгула антисемитизма. Сколько раз я думала: "Какое счастье, что отец умер. Что было бы с ним, будь он жив. На его похоронах я слышала, как один сказал: "Президент Географического Общества, а от Горсовета никто на траурном митинге не выступал. Почему бы это?" "Еврей!" — сказал другой. Это была одна из причин. Главным, почему не выступал на многотысячном траурном митинге представитель власти, было то, что Л. С. Берг оставался честным человеком. Между его высоким положением в иерархии лжи и категорическим императивом морали, которому была подчинена душа усопшего Президента, был полнейший разлад.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЮБИЦЕВ

Сохранить душевную гармонию в те дни могли лишь люди, способные отказаться от почестей, глубоко верующие, по самой своей природе, или же прирожденные хиппи, находящиеся на дне бытия, — те, кто имел свою религию, — баловни судьбы, не властей. Одним из этих счастливых был ламаркист Любищев. Впрочем "ламаркист" — это совсем недостаточно, когда заходит речь о такой грандиозной фигуре.

Он был последователем Платона. Сущее он считал воплощением великой и доброй мысли. О творческой роли естественного отбора в эволюции не могло быть и речи в его системе идей.

Александр Александрович Любищев, зоолог, специалист по защите растений был другом и единомышленником отца. Так же, как Лев Семенович, он ставил средства для достижения цели выше самой цели.

В отличие от Льва Семеновича он ринулся в бой. Он написал фоланты, критикуя Лысенко и Мичурина, и лишь чудом остался на свободе.

Смелость его была беспредельной. Он был гоним и жил на пенсии в Ульяновске. О своей судьбе он не пекся, ездить за границу не стремился, очень радовался, когда его труды удавалось пристроить в печать, но писал их совершенно свободно, без малейшей надежды на публикацию. Эзоповский язык он отвергал. Он был задорно лукав. Но его лукавство ничего общего с маскировкой не имело. Однажды в самолете, на пути из Новосибирска в Ленинград, я читала его критический очерк о Сент-Экзюпери. Это был первоклассный образец самиздата. Однако я чувствовала себя усталой и на самом интересном месте, где речь шла о сходстве сталинизма с гитлеризмом, я заснула. Раскрытая рукопись лежала у меня на коленях. Я сидела у окна, сосед был у меня только один. Самолет делает посадку в Свердловске, на полпути. Я проснулась, когда пассажиры готовились к выходу. Мой сосед, покидая самолет, сказал: "Я видел, что вы читаете". "Значит, вы не бесполезно провели время", — сказала я, испытывая ужас от случившегося. Но ни в Свердловске, ни в Ленинграде на аэродроме, ни потом за мной не пришли.

Любищев писал в Правительство о необходимости организовать институт по изучению идеализма, где приверженцы идеализма могли бы развивать свои концепции. Ему принадлежат глубокие великолепно выполненные исследования по истории науки.

Идеализм, а не материализм прокладывал в прошлом новые пути в науке о природе. Идеалист по самой своей сути

свободней. Он не связан необходимостью познавать механизм явления, причинно-следственную связь вещей. То, что материалист отвергает как несуществующее на том основании, что ему — материалисту, неясно, идеалист берется исследовать, описывать, наблюдать. Так было, в частности, с теорией эволюции. Формулируя ее, Ламарк выступал, как идеалист. Механизм эволюционных преобразований остался ему неизвестен, об отборе он упоминает только раз в своей феноменальной теории происхождения человека.

Проблема целостности живых систем долгое время была достоянием идеализма.

Протесты Любичева не ограничивались наукой. Он написал письмо в Моссовет против установления в центре Москвы, перед зданием прокуратуры СССР, памятника Юрию Долгорукому, якобы основавшему Москву. Сооружение этого памятника было лживой данью со стороны Правительства русскому шовинизму. Любичев привел историческую справку о Долгоруком и предлагал памятник снять. Он получил ответ, что Моссовет согласен с его аргументами и что памятник будет перенесен в другое место, и место это было поименовано. Копии этого письма Любичев разослал по почте своим друзьям. Большая смелость во времена перлюстрации. Монумент остался там, где был "Памятник лжи", как назвал одно из своих стихотворений Иосиф Бродский.

Обаяние Любичева было неповторимым. Когда уже в семидесятые годы он выступал на математическом факультете ЛГУ с докладами, за ним ходили толпы молодежи. Математический факультет предоставлял ему трибуну, а биологи боялись.

Его последний доклад в Ленинграде был посвящен "Номогенезу" Берга. Я выступала в качестве содокладчика оппонента и освещала вопрос с дарвинистских позиций. Теория Дарвина и Ламарка отнюдь не исключают друг друга. Теория систем дает синтез ламаркизма и дарвинизма, позволяет сочетать идею гармонии природы с идеей отбора. Я рассматривала отбор как одну из закономерностей эволюции. И показала; что наследование приобретенных в индивидуальном

развитии признаков, существуй оно, ограничивало бы свободу реализации индивидуальных свойств организма и было бы тормозом эволюции. После моего доклада Любичев сказал: "Если это называется дарвинизмом — я дарвинист".

Моральная сторона вопроса в его представлении главенствовала.

Задолго до выхода в свет прославленной книги Дарвина "Происхождение видов" идея отбора была высказана двумя поэтами — Гете и Баратынским. Гете поэтическим чутьем угадал азартную игру природы. Она стоит у игорного стола и, восклицая *au double*, дублируя ставки, играет смело, счастливо, страстно. Все идет на ставку — животное, растение... "И не является ли сам человек только ставкой на высокую цель?" — спрашивает поэт.

Баратынский воспеваает смерть как источник гармонии.

**Дашь пределы ты растению,
Чтоб не застлал угрюмый лес
Земли губительною тенью,
Злак не возрос бы до небес.**

Это тоже идея отбора в ее благородном выражении.

И все же, по самому высокому счету, отбор, выживание наиболее приспособленного, борьба за существование — эти столпы дарвинизма — бесчестие природы. Лучше всех это выразил Осип Мандельштам в стихотворении "Ламарк".

**Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.**

Отвергая отбор в качестве движущей силы эволюции, приверженцы Ламарка вступились за честь природы. Они отказались верить в торжество приспособленчества, в право сильного, в благотворные последствия борьбы: Любичев, Берг, Светлов, Кузин...

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ САХАРОВ

7 августа 1948 года Юрий Жданов, сын А. А. Жданова и заведующий отделом науки ЦК, написал покаянное письмо на имя Сталина. Оно было напечатано в "Правде" в день окончания августовской сессии ВАСХНИЛ. Юрий Жданов каялся в поддержке, оказанной им генетике. Этот потомственный интеллигент нашел великолепную формулировку для практических достижений генетики — дары данайцев, Троянский конь.

Не стало в России ее пищи — гречневой каши, но не это страшило противников генетики, а идеологический ущерб, который мог произойти от урожаев гречихи, достигнутых В. В. Сахаровым чисто генетическими методами.

Под запретом оказались все достижения мировой и отечественной агрономической науки: метод двойной межлинейной гибридизации кукурузы, высокогорное семеноводство и гибридизация сахарной свеклы, полиплоидные сорта картофеля, лекарственных растений, редиса, метод оценки производителей по потомству и многое, многое другое. Отвергалось все, что могло накормить страну и предотвратить голод, отвести от страны позорную необходимость импорта, общую нищету.

В. В. Сахаров начал свою научную работу под руководством Н. Н. Кольцова. Первые его работы были посвящены геногеографии человека. Он занялся базедовой болезнью горцев. Казалось, что болезнь передается из поколения в поколение. Целые аулы, населенные кровными родственниками, поголовно болели ею. В. В. Сахаров показал, что это заблуждение. Причина болезни внешняя — отсутствие йода в питьевой воде. Когда медицинская генетика, независимо от практической значимости ее выводов, была запрещена, Сахаров работал в области химического мутагенеза. Первые в мире открытия в этой области принадлежат ему. Его объектом была дрозофила. Еще при жизни Кольцова он решил заняться гречихой. Он хотел быть полезным своей стране немедленно. Новый сорт был создан с помощью удвоения числа хромосом и отбора.

Во время войны Сахаров из Москвы не уезжал и продолжал в труднейших условиях совершенствование сорта. В 1944 году его рано побелевшая голова рисовалась на фоне цветущего поля гречихи. Никогда не забуду, как он сеял ее на береку Оки, на биостанции своего института в Кропотове.

В 1948 году его выгнали отовсюду. Он жил с матерью и незамужней сестрой. Сестра стала единственной кормилицей семьи. Она умерла от сердечного приступа на лестнице. Несколько лет он был безработным. Жил в коммунальной квартире, а каково безработному в коммунальной квартире, я знаю отлично — сама годами так жила. Соседи у Сахарова были омерзительные. Владимир Владимирович рассказывал мне, что в те дни он похудел. Он это говорил, когда времена переменялись, и он снова работал в Академии. /Стал он к тому времени не то чтобы полным, а плотным /. Он говорил обо всем этом с большим юмором. Он любил поесть. Я сама привозила из Ленинграда копчушки — рыбки такие маленькие, копченые, золотые. Один раз привезла очень мелкие. "Болтали, наверное, направо и налево в очереди и не смотрели, что продавец на весы кладет", — говорил он. Я и в самом деле в очередях любила с народом поговорить: "Любите в очереди стоять, — говорила я стоящим, — это русское свойство. Католики в церквах сидят, лютеране сидят, евреи, магометане, все сидят, а православные стоят".

Рокфор Сахаров не любил. Он очень смешно рассказывал, что такое рокфор, как его сестра рокфор сервировала, а кошка их — "кассириша" — сзади стояла и осуждающе принохивалась, а когда кусочек — не сыра даже, а серебряной обертки упал, она подошла и стала его зарывать.

Он говорил на великолепном русском языке, знал в деталях историю России. Москвич, он ходил по Ленинграду и рассказывал историю каждого дворца, каждого мало-мальски знаменитого дома. Он был холост. В маленькой комнате, где за большим обеденным столом он принимал гостей, на стене висела довольно большая фотография молодой женщины такого обаяния, такой изысканной прелести, какие навсегда оставляют след в памяти. Его одиночество и эта фото-

графия казались мне звеньями одной цепи событий, видимо, трагической, о которой я никогда не расспрашивала.

Но В. В. не был неразборчив в своих привязанностях. Люди оборачивались к нему лучшей стороной, и он верил им. Когда в 1964 году Лысенко был разжалован в академики, как говорил В. В. Сахаров, 16 генетиков получили свои давно заслуженные степени доктора наук без защиты диссертации. Сахаров был в числе этих 16. Поздравляя его, я написала: "Есть присвоение степени, делающее честь самой степени, повышающее ее почетность. Вы — этот тот самый случай".

Умер Владимир Владимирович 9 января 1969 года. Еще при Сталине, другой страстотерпец, А. Р. Жебрак, помог ему, и Сахаров стал доцентом Кафедры лекарственных растений фармацевтического института. Он читал фармацевтам ботанику. Тогда появилась новая социальная категория людей — "сахаровские птенцы". У себя дома Владимир Владимирович обучал фармацевтов генетике. Многие из нынешних молодых генетиков вышли из подпольного университета, единственным профессором которого был доцент кафедры лекарственных растений фармацевтического института.

В 1944 или 1945 году Сахаров еще работал в Институте, созданном на руинах Кольцовского института. Я ходила с кустом гречихи, намного превышающим мой выше среднего рост, к вице-президенту АН СССР Л. А. Орбели и к академику Г. М. Кржижановскому, прося поддержки. Леон Абгарович Орбели с грустью сказал: "Будь она создана мичуринскими методами, вашего Сахарова сделали бы товарищем президента республики, а так ничего не выйдет".

Глеб Максимилианович Кржижановский говорил: "Велика Федула, да дура!" Это означало — я бессилена.

В 1943 году Вавилов был уже мертв — он умер 26 января 1943 года — и лежал в братской могиле во дворе тюрьмы в Саратове, а мы думали, что он, может быть, еще жив. Я попросила Глеба Максимилиановича поговорить со Сталиным. Тогда он прямо сказал, что бессилена.

В 1930 году ему была поручена рецензия на технический проект Рамзина. Проект был объявлен вредительским, Рам-

зин отдан под суд. Ему грозила смерть. Кржижановский дал положительный отзыв проекту. Сталин сказал на заседании одно только слово: "Рассмотрим", — и ухмыльнулся сардонически, как рассказывал мне Глеб Максимилианович. После этого Кржижановский был изгнан из правительства, Рамзин приговорен к расстрелу. Он и его мнимые соучастники были приговорены к смерти судом по требованию миллионов трудящихся, которые на митинге голосовали за смертную казнь.

Мне было 17 лет, и я — студентка первого курса ЛГУ — была на таком митинге, сидела ни жива ни мертва. Руку не поднимала ни за, ни против, ни вслед за вопросом кто воздержался (понимая, какое беззаконие творится у меня на глазах). Рамзин, однако, расстрелян не был. Приговор имел "воспитательное значение" для миллионов трудящихся. Ему была впоследствии дана сталинская премия. Кржижановский, однако, в правительственные сферы возвращен не был. "Я уцелел случайно", — сказал он мне как-то раз.

В течение пятилетнего срока, который судьба отмерила Сахарову после того, как генетика была восстановлена в правах, он пытался внедрить свой сорт гречихи в производство. Преграда вставала за преградой. Окрестные с Кропотовской биостанцией колхозы еще с войны сеяли его семена. Сортоиспытание было целиком во власти лысенковцев. Запороть сорт при желании ничего не стоило. Насколько мне известно, гречиха Сахарова так и не получила санкции.

ТРОФИМ ДЕНИСОВИЧ ЛЫСЕНКО

Было это в 1951 году. Будучи выгнана отовсюду, я в это время писала книгу о путешествиях моего отца Л. С. Берга по озерам Сибири и Средней Азии и ходила в Ботанический институт АН СССР знакомиться с среднеазиатской флорой. Один раз застала там конференцию. Был перерыв. В вестибюле у столов стояли люди — книжный магазин оборудовал выставку новых книг. Два пожилых ботаника оживленно разговаривали. Отлично помню всю сцену. Один рассказывал

другому о кукушке. Вот это самое, что она родится от пеночки. Я прислушалась. Они заметили и отошли — сталинское время было.

Через некоторое время, на даче у опального уже тогда Леона Абгаровича Орбели я сказала ему, что анекдоты предсказуемы, вот про кукушку можно было предвидеть. Он на меня печально так посмотрел и ничего не сказал. А потом, в другой раз, он при мне рассказывал о докладе Лысенко, когда малограмотный агроном, выпускник Сельскохозяйственного института города Умани, развивал свои соображения по общей паразитологии. Огромный зал не вмещал всех желающих, громкоговорители были установлены во всех коридорах здания. Но академики, конечно, все были в зале. Леону Абгаровичу особенно запомнилось, как аплодировал Евгений Никанорович Павловский — действительный член двух Академий — Академии Наук и Академии Медицинских Наук, зоолог и паразитолог, директор Зоологического института АН СССР.

О кукушке подробно пишет Дарвин в "Происхождении видов". Есть специальная книга, посвященная гнездовому паразитизму у птиц, изучены генетические и экологические основы выбора кукушкой гнезда для своего потомства. Но что такое наука для Трофима Денисовича Лысенко. Он говорил, что пеночка порождает кукушку, если она сама выросла на необычном для нее рационе — выкормлена родителями — мохнатыми гусеницами. Вы думаете, велись наблюдения над кукушкой и пеночкой? В сущности, не нужны были никакие наблюдения: Лысенко говорил, Павловский аплодировал.

Е. Н. Павловский зачислил в свой Институт академика И. И. Шмальгаузена — директора Института эволюционной морфологии животных и заведующего кафедрой дарвинизма Московского университета, когда тот лишился работы, и до конца своих дней Шмальгаузен был сотрудником этого Института. Он умер в 1963 году, через 15 лет после августовской сессии ВАСХНИЛ. К преподаванию его так и не допустили. Чтобы иметь возможность в 1951 году зачис-

лить преданного анафеме академика, Павловский аплодировал Лысенко.

Впрочем, поддакнул он Лысенко и в печати, — очень постыдно. Об этом у меня и был с ним разговор, когда он стал Президентом Географического Общества — шестым Президентом после того, как пятый — мой отец — оказался не в состоянии дальше жить под пятой сталинизма.

Я не выдержала и пару теплых слов ему сказала. Разговор начал он, ему хотелось оправдаться, а я была фигура чисто приватная. Он хотел получить одобрение своему "подсюсюку", но не получил.

Не знаю, почему кукушка, рожденная пеночкой, показалась мне анекдотом, ведь она вполне вписывается в картину мичурунизма. Я старалась найти хоть что-то разумное в этой свистопляске анекдотических нелепостей.

В 1945 году на юбилейной сессии Академии Наук СССР произошла встреча академика Лысенко и прославленного английского ученого Юлиана Гексли — внука Томаса Гексли — великого соратника Дарвина. Юлиан Гексли — эволюционист, деятель сельского хозяйства государственного ранга. Лысенко докладывал, Гексли и Эшби слушали, Элеонора Давидовна Маневич — биолог, в равной мере владеющая обоими языками, переводила. Зал был полон. Зал Биоотделения АН СССР, где происходило заседание, — великолепный светлый амфитеатр. За столом, покрытым красным сукном, стоял Трофим Денисович Лысенко и сидели два академика, — физиолог растений Келлер и микробиолог Гамалея. Их очень разные лица не выражали и тени неловкости. Заинтересованности тоже. Особенно эпичен был крупный породистый Гамалея со своей косо выдающейся челюстью рядом с седеньким Келлером.

Лысенко был удивительно похож на Гитлера. Даже прядь прямых волос, падающая на лоб, та же. Он показывал снопы и говорил хриплым лающим голосом, я помню только один обрывок одной фразы: "Этот признак считается доминантным, а этот вот рецессивным, здесь, к сожалению, еще есть те, кто понимают, что это значит..." Дальше я слушала, но не

слыхала. Вавилов уже более двух лет лежал в братской могиле во дворе Саратовской тюрьмы. Софья Леонидовна Фролова и Лидия Петровна Бреславец — знаменитые цитологи с мировым именем — не пришли на заседание. Как говорила мне потом Лидия Петровна, чтобы не быть свидетелями профанации своей Родины и своей науки перед иностранцами.

Доклад Лысенко я не помню, но отлично помню вопросы, которые задал ему Юлиан Гексли, и ответы Лысенко. Один из вопросов гласил: "Если нет генов, как объяснить расщепление?" "Это объяснить трудно, но можно, — сказал Лысенко. — Нужно знать мою теорию оплодотворения. Оплодотворение — это взаимное пожирание. За поглощением идет переваривание, но оно совершается неполностью. И получается отрыжка. Отрыжка — это и есть расщепление".

Слова Лысенко Юлиан Гексли приводит в своей книжке. В моем сознании все это не укладывалось. Я пошла к Шмальгаузену. Он, как и Фролова и Бреславец, на такие сборища не ходил. Я повторила слово в слово сказанное на заседании Лысенкой и спросила, что это значит. — "А только то и значит, — сказал Шмальгаузен, — яйцеклетка и спермий ели, переваривали, отрыгивали"...

Меня занимал вопрос, почему лысенковщина дошла до такой крайней степени духовного обнищания. Финал не был случайностью. Цепь событий изначально строго детерминирована. На входе — возведение на пьедестал невежды. Дальше размер зарплаты и высота пьедестала становятся критериями истины. Не может же в самом деле действительный член Академии Наук СССР, избранный по биологическому отделению, получающий зарплату, по крайней мере в двадцать раз превышающую зарплату уборщицы /не считая льгот, увеличивающих его доходы вдвое/, не знать биологии. И нелепость за нелепостью получает апробацию. Чем смелее проекты, тем быстрее продвижение вверх, чем выше чин, тем более дурацкий проект. На выходе — яровизация, создание удойной породы скота за одно поколение в расчете, что "отрыжки не будет" и гибриды будут сочетать желательные свойства родителей и передадут их потомкам, всем без исключения.

Хлеб имеет существенное отличие от атомной бомбы. Без бомбы дворцу не обойтись, хлеба хватит, а те, кто за пределами дворца, подтянут пояса во имя блага будущих поколений.

Меня часто спрашивают — как сложилась позднее судьба Лысенки? Это невежественный вопрос. Его судьба должна быть ясна каждому, кто мало-мальски знаком с положением вещей в Советском Союзе. Он был свой — этим сказано все. Он беспартийный, по происхождению кулак. Первой яровизации он подверг мешок озимой пшеницы, спрятанный от конфискации его папашей. Это никого не тревожило. Важен был уровень верноподданничества.

В 1956 году В. П. Эфроимсон исчислил ущерб, нанесенный Лысенкой сельскому хозяйству, в рублях. Он отнес фолиант Генеральному Прокурору СССР с предложением привлечь академика к уголовной ответственности. Эфроимсон тогда только что был выпущен из Джезказгана, был безработным. Фолиант был принят. Процесс, как известно, не был возбужден. Потом Лысенко директорствовал в своем институте, вершил дела двух Академий и благоденствовал.

Много есть причин, почему генетика не погибла окончательно под сапогом лысенковщины. Одна из них — бесстрашие таких людей как В. П. Эфроимсон, И. А. Рапопорт, Б. Л. Астауров, З. С. Никоро, М. Л. Бельговский, В. С. Кирпичников, В. В. Сахаров, А. А. Малиновский. Бесстрашие перед лицом смерти. Она ждала их, чтобы преумножить могилы, в которых лежали их друзья, учителя, те, кому надлежало подражать. Но могилы, даже затерянные, и может быть, именно затерянные, обладают великой силой. Они — барьер на пути всеобщей деморализации. Генетика не погибла в Советском Союзе, потому что за нее в застенках погибли Вавилов, Карпеченко, Левит, Левитский, Агол, потому что многие приняли за нее мученический венец, пошли на неизвестное прозябание, отказались ради нее от доблести.

**Все, все, что гибелью грозит
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.
Бессмертья может быть залог.**

ЭДНА БРИССЕНДЕН

Протесты студентов в те годы были крайней редкостью. Сталинские времена. Мне известно только два случая. Когда в 1940 году был арестован заведующий Кафедрой генетики растений Ленинградского университета профессор Г. А. Карпеченко, одна из студенток в знак протеста подала заявление об отчислении и была отчислена.

В 1948 году после августовской сессии ВАСХНИЛ один студент Медицинского института в Ленинграде протестовал против увольнения профессора Кафедры общей биологии Ивана Ивановича Канаева — известного генетика, историка науки. Студент был арестован, получил свои десять лет лагерей, был реабилитирован в хрущевское время, стал генетиком — специалистом по генетике психических заболеваний. Он считает арест психической травмой, способной провоцировать заболевание. О нем молчу.

Студентке ее смелость сошла с рук. Отчислили и только. Двумя годами позже она вместе со своей матерью умерла в блокаду от голода и холода. Ее звали Эдна Борисовна Бриссенден. Я знала ее хорошо, потому что она была моей ученицей.

В 1937 году ко мне на кафедру генетики и экспериментальной зоологии ЛГУ привели девочку — школьницу, чтобы я /аспирантка этой кафедры/ обучила ее генетике. Она была ученицей восьмого класса школы — пятнадцать лет ей, значит, было — и студенткой университета для школьников. Был такой. Всякий школьник при желании мог посещать его по вечерам. Оказалось, что девочка по-русски говорит с сильным акцентом. Первая фраза ее была: "Мне нужно мышей". "Зачем?" — "Я хочу заниматься генетикой мышей". "На нашей кафедре никто мышами не занимается, но мы могли бы раздобыть их для вас". "Вы можете достать чистые линии?" — спросила она. Я раскрыла глаза. Вопрос показывал, что дитя хорошо знает генетику и знает, чего хочет. Я предложила ей заняться под моим руководством дрозофилой, и она согласилась.

Моя первая работа по генетике популяции, напечатанная в "Журнале Общей биологии", была написана в 1938 году в соавторстве с ней. Отнюдь не боясь испортить похвалами ребенка, я сказала ей: "Придет время, и я буду гордиться соавторством с Вами". Написав это "с Вами", я поставила по ошибке заглавное В".

Я горжусь соавторством с ней, но причина моей теперешней гордости не та, что я имела в виду тогда. Я предрекла ей будущность великого ученого. Это не состоялось. Ее величие — в бесстрашии.

Я спросила ее много позже, зачем ей нужны были мыши. Она раскрыла учебник генетики Синнота и Дена и показала мне картинку — результат скрещивания серых и белых мышей-альбиносов. Во втором поколении этого скрещивания, в потомстве серых гибридов первого поколения, появляются белые мыши-альбиносы. Но их только одна четверть. Три четверти — серые: "Я хотела помочь белым мышам передавать свои признаки потомству".

Мать ее не была красавицей, она же отличалась поразительной красотой. Огромные серые глаза, благородные линии носа.

Она приехала, вернее, ее привез в Ленинград из США вместе с ее матерью Николай Иванович Вавилов. Мать ее — американка — специализировалась в США по русскому языку, была членом коммунистической партии, участвовала в протесте против казни Сакко и Ванцетти и лишилась работы. Вавилов привез ее в качестве секретаря. Он совершенно серьезно говорил, что она — гений.

Они жили в крошечной квартирке на Невском, на углу Мойки, в Строгановском дворце, в одном из зданий Института Растениеводства, директором которого был Вавилов. Жили они под крышей. Когда-то здесь жила дворцовая челядь. Но по тем временам это было роскошно — не в коммунальной квартире ведь. Окна выходили на Невский. Прихожу к ним однажды. На стене висит шерстяной коврик, и на нем изображена большая красная свастика. А дело было в 1939 году. До пакта дружбы с Гитлером. "Снимите коврик сейчас

же, — говорю, — через окно могут увидеть". "Нет, — говорит Эдна, — мама коврик снимать не будет. Это коврик не нацистский, а индийский, а мы против угнетения народов".

В 1937 году, летом, я хотела взять ее с собой в экспедицию, и начальник экспедиции обещал мне включить ее без оплаты. Мы сговорились, что он сделает вид, будто с оплатой, а деньги, которые он израсходует, внесу я. Помогать ей было дело не легкое. Гордость ее была непомерна. Всякую помощь она рассматривала как подачку. У нее была кожаная курточка — для ленинградской зимы совсем неподходящая, — и мы на Кафедре решили надеть на нее мой шерстяной иранский джемпер очень толстый, хоть на время просили взять. Куда там! Тогда с Муретовым, Грацианским, Розенштейном /позже все погибли на войне/ решили силой натянуть на нее джемпер и ее курточку. Шутили, но действовали решительно. Эдна отошла к двери, молниеносно сняла курточку, выкинула джемпер и ушла.

Мы с начальником экспедиции решили ее обмануть. Но оказалось, что начальник экспедиции и не собирался ее брать, а мне обещал, чтобы заполучить в состав своей экспедиции меня. А я ехала, чтобы помочь ей. Эдне он объяснил, что средства урезаны и он не может финансировать ее участие в экспедиции. "Как вы могли поверить ему? — спросила пятнадцатилетняя девочка. — С первого взгляда видно, что лжец!" Впрочем, не будем строго судить этого начальника. Ни один разумный человек /себя к их числу не причисляю/ не рискнул бы взять американскую подданную в экспедицию: 1937 год! Этим сказано все.

Когда мы пришли на завод фруктовых вин и попросили директора разрешить нам ловить дрозophil в бродильном цехе, он, не отвечая, снял трубку и позвонил в НКВД. Он спрашивал, как быть. При этом он сильно дергался, будто в пляске святого Витта, и мигал одним глазом. После телефонного разговора он дал разрешение ловить мух.

В начале 1939 года — я еще была в аспирантуре в Ленинграде — Эдна пришла на кафедру и сказала, что им с матерью не продлевают визы, в гражданстве отказывают, и, видно,

придется вернуться в Америку. Она была в отчаянии. Я сказала ей, что им, наверное, лучше уехать. Она — гордая Эдна Бриссенден — уткнулась носом в стенку и сдавленным голосом сказала: "Убирайтесь к черту. Тут я буду учиться в Университете, а там я буду мыть посуду". "Нет, — сказала я, — там вы будете живы, а здесь не останется от вас ни праха, ни пыли".

В 1939 году она поступила в Университет. До поступления она работала в Зоологическом институте лаборантом. Став студенткой, она лишилась возможности зарабатывать. Стипендию ей не давали. Вавилов уже не был директором института и не имел возможности оплачивать секретаря. Мать ее получала как библиотекарь иностранного отдела библиотеки Института Растениеводства сорок рублей в месяц.

В 1940 году арестовали Вавилова и в том же году Карпенченко. В знак протеста Эдна ушла из Университета. Она говорила, что в Америке, в ненавистной ей Америке, ни один студент не остался бы. Я спросила ее, чем же она будет заниматься. Она отказалась ответить. Сказала, что есть вещи важнее науки.

Я жила в то время в Москве, летом 1941 года она должна была приехать ко мне в гости, но началась война. В конце 1941 года или в начале 1942 они обе — она и ее мать — погибли.

РОЗА АНДРЕЕВНА МАЗИНГ

Роза Андреевна Мазинг была ассистенткой Университета в то время, когда я еще училась. Кафедра генетики Ленинградского университета была создана в 1925 году Юрием Александровичем Филипченко. Роза Андреевна была его ученицей.

Ю. А. Филипченко — биолог-энциклопедист. Теория эволюции и биометрия, генетика и систематика были в равной мере его специальностями. Созданную им Кафедру он назвал кафедрой генетики и экспериментальной зоологии. Но он не

ограничивал себя зоологией. Он занимался генетикой и селекцией количественных признаков пшениц и уток, создал сорт пшеницы для Ленинградской области под именем "Петергофка". Его интересовало наследование одаренности. На основе анализа родословных выдающихся людей России он пытался выявить относительную роль наследственности и воспитания в формировании творческой личности. Выводы его были самого гуманистического и демократического свойства.

У него было множество учеников, и они его боготворили. Ему было пятьдесят лет, когда летом 1930 года он умер.

Когда я пришла на кафедру, его не было. С деревянными лицами, набычившись, сидели его ученики и новый заведующий кафедрой Александр Петрович Владимирский и молчали. А пришлые партийные юнцы затапывали в грязь имя их учителя и кумира — "мракобеса", "расиста", "представителя буржуазной интеллигенции". Таково мое первое впечатление от Университета, от генетики. Это была грохочущая кузница, где выковывались будущие предатели. И герои — подвижники. Шла поляризация.

Розу Андреевну я на этих заседаниях не помню — она скорее дала бы отрубить себе голову, чем выступила против мертвого. Она оставалась на кафедре до смерти Владимирского в 1939 году и работала с дрозофилой. Она обнаружила повышенную жизнеспособность у мух, содержащих в скрытом виде смертоносную мутацию — явление сверхдоминирования. Очень важное открытие. Позволяет понять генетические причины гибридной силы. Эта ее работа и подверглась профанации со стороны Лысенко. На общем собрании Академии Наук, выступая перед академиками всех специальностей, он позволил себе такую выходку, что при дамах присутствовавшие отделивались только намеками, а бедной Розе Андреевне и намекнуть было нельзя. Когда же дошло до нее, что квинтэссенцией лысенковской шутки была матерная брань, она очень огорчилась, что есть такое явление как матерщина. До того она не знала.

Роза Андреевна происходила из очень интеллигентной

семьи. Прадед ее был детским врачом в семье Пушкина. Все братья — профессора. Между прочим, она задалась вопросом о происхождении матерной брани и выяснила у фольклористов, что матерщина — политический эвфемизм и восходит ко временам татарского ига. /Как и лысенковщина, замечу от себя, ибо причина ее — привычка быть рабами, традиция угодничества./

Роза Андреевна все же решила узнать, что кроется за странными недомолвками. Пригласив меня в гости, она с глаза на глаз стала расспрашивать, в чем дело. Мухи, с которыми работала Роза Андреевна, черные, цвета эбенового дерева. Строгость эксперимента требовала наличия маркирующего признака. Маркером служил черный цвет тела, цвет эбенового дерева /"эбони" — по международной английской номенклатуре/. Латынь — международный язык зоологов и ботаников, английский — генетиков-дрозофилистов. Сотни мутаций этой знаменитой мухи носят английские имена. Эбони — одно из этих имен. "Вы пишете, — сказала я Розе Андреевне, — что девственные самки происходят из линии эбони. Так вот, Лысенко и сказал: "Да какие же они девственные, если они ...", — и тут он на русский манер произнес название линий. "Так ведь, если по-русски прочесть название самок, то получится что-то непонятное, — говорит Роза Андреевна, — я знакомых спрашивала, на бумажке писала, никто этого слова не знает. Вот я вам напишу". "Да врут они, стесняются вам сказать, — говорю, — как это так: я знаю, а они не знают". Она взяла бумажку и написала — "ebony" — английское слово, прочитанное, как если бы оно было написано кириллицей. "Роза Андреевна, — говорю я ей, умирая со смеху /я уже начала "умирать", когда она про бумажку сказала/, — неужели вы никогда не слышали, как извозчики ругаются, когда лошадей понукают?" "Слышала три слова каких-то, но разобрать никогда не могла", — говорит Роза Андреевна.

Я рассказала о выходке Лысенко моему отцу. Он сказал, что отказывается верить. Но печаль, с которой он говорил, показывала, что он поверил. Это было в 1939 году.

Двадцать лет спустя, в 1959 году, я сама стала жертвой подобного выпада со стороны Лысенко. Не называя моей фамилии, он процитировал фразу из моей статьи, где речь шла о генетических основах эволюции. Я употребила выражение "генетический дрейф". Дрейф — вещь общеизвестная — сдвиг в численном соотношении прежнего и нового изменившегося гена среди представителей вида. О дрейфе говорят, когда речь идет о случайных сдвигах, совершающихся без отбора. Если в данном поколении 35 процентов ленинградцев имеют карие глаза, а в следующем — 40, значит, произошел сдвиг — дрейф. На уличном жаргоне дрейф значит страх, постыдное бегство. Сдрейфить — струсить. "Генетический дрейф!" Лысенко нужно было только произнести эти слова, и все понимали, что речь идет о страхе, который он нагнал на генетиков. Сам он от страха, испытанного им, когда умер великий вождь народов, к тому времени оправился, новым разжалованием не пахло. И вот, фактический убийца Вавилова бравировал своей способностью внушать страх.

Розы Андреевны к этому времени уже не было в живых, а то мы бы с ней обменялись жизненным опытом.

В 1939 году новый заведующий Кафедрой генетики ЛГУ М. Е. Лобашев, сменивший покойного Александра Петровича Владимирского, отказался сотрудничать с нею. Ее взял к себе в Институт физиологии АН СССР академик Л. А. Орбели.

Издеваясь над генетиками на одном из общих собраний Академии Наук, Лысенко однажды сказал: "Вот мухи у них в почете. Особенно безглазые. Посудите сами, кому нужна безглазая муха". — И тут встал великий физиолог-эволюционист Леон Абгарович Орбели и сказал, что безглазые мухи нужны ему, чтобы изучать сравнительную физиологию зрения.

В 1948 году Орбели было предложено выкинуть дрозофилу из числа объектов, а Розу Андреевну уволить. Она рассказывала мне о заседании Ученого Совета, где ее шельмовали, чтобы выгнать. Все, за исключением двух, были за увольнение. Одним из противников увольнения был директор института Л. А. Орбели, другой — секретарь партийной организации института.

Орбели встал, постоял, помолчал и сказал: "Не уволю. Природу переделывать собираемся, а человека увольняем. Людей надо направлять по правильному пути, а не карать, вот и направим". И Роза Андреевна осталась в институте. Что она делала после августовской сессии ВАСХНИЛ, не помню. Наверно то же, что и до нее. Она оформляла докторскую диссертацию на тему о генетических основах поведения насекомых.

В 1950 году Лысенко оплатил Орбели за поддержку, которую тот оказывал генетикам, когда был Вице-президентом АН СССР и директором академического института. На сессии Академии Медицинских Наук СССР Л. А. Орбели был "разоблачен" и с поста директора его сместили. Когда узнала об этом Роза Андреевна, у нее начался приступ грудной жабы, и она умерла.

М. Е. Лобашев был в это время сотрудником Орбели. Его изгнал в августе 1948 года с поста заведующего кафедрой генетики Н. В. Турбин, ярый лысенковец и погромщик, — ныне президент Общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова, перестроившийся на глазах публики, разучившейся удивляться чему бы то ни было.

М. Е. Лобашев сказал на похоронах Розы Андреевны: "Ее жизнь и смерть пример тому, как одинок может быть советский человек".

Он мне это сам рассказывал, так как ему за это очень попало. Он — член партии — должен был знать, что советский человек никогда и ни при каких обстоятельствах одинок не бывает. Докторскую диссертацию Розы Андреевны один из ее братьев — профессор, бросил в припадке страха в печь.

А Леон Абгарович Орбели, когда на заседании биологического отделения Академии Наук его смещали с поста директора Института за переоценку роли высшей нервной деятельности в физиологических отправлениях человеческого организма, сказал, что он напишет отречение от своей уставки, так как именно на этом заседании, на примере своих коллег, убедился, что желудок оказывает сильное влияние на мозг.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

Н. В. Тимофеев-Ресовский представлялся мне тихим русским интеллигентом. Поскольку он жил в Германии и я никогда не видела его, а только читала его работы, написанные на немецком языке. Когда он появился в Москве, выйдя из заключения, и мы познакомились, оказалось, что это могучая русская натура, полная буйной энергии. Могучий голос, необычайная подвижность, исключительный артистизм. Он мгновенно делался центром внимания и поклонения в любой компании. Я спросила его, почему это он казался мне тихим русским интеллигентом, когда я читала его работы. Он сказал: "Потому что на немецком языке ничем другим, кроме как тихим русским интеллигентом, быть нельзя".

Он говорил, что никакого классового антагонизма не существует — на одном полюсе аристократ и пролетарий, на другом — мещанин. Он сочетал в себе пролетария и аристократа. Страх — атрибут мещанства — был ему абсолютно чужд.

Выйдя из заключения, Николай Владимирович жил сперва в Свердловске, потом в Обнинске, недалеко от Москвы, и изредка бывал в Ленинграде. Городским транспортом он не пользовался, либо ходил пешком, либо ездил в такси. Пешком он ходил не так, как все люди. Мы с Еленой Александровной — его женой — шагаем нормально, а он бежит впереди, останавливается и бежит обратно, добежит до нас и опять вперед.

Советских степеней у Николая Владимировича не было, членство двух европейских Академий — Немецкой и Итальянской — советские бухгалтерии при начислении зарплаты в расчет не принимали, и деньги шли самые мизерные. Но натура была такова — давать, дарить, одаривать направо и налево.

В 26 лет он получил Рокфеллеровскую стипендию и уехал в Берлин в Институт по изучению мозга. Он стал директором этого Института, всемирная слава сама пришла к нему — он за ней не гнался. Он оставался в Германии, когда к власти пришел Гитлер. Его старший сын был уничтожен за участие

в сопротивлении нацизму. О его смерти догадывались, ничего не знали, надеялись, ждали. Самого Николая Владимировича не трогали.

Жертвами опричнины становятся четыре категории людей: первая категория — светочи, их уничтожение заставляет притихнуть большую группу людей; вторая — свидетели преступлений, вовлеченные в кровавую кухню политики, мавры, которые сделали свое дело; третья — владельцы благ, соблазняющих опричников; четвертые — изначально запуганные, молчаливники, с их помощью разыгрывают процессы над несуществующими заговорщиками.

Николая Владимировича могла погубить принадлежность к первой категории, но не погубила. Ни к одной из трех других категорий он не принадлежал. Известный шведский генетик Арне Мюнциг, приехавший в Ленинград в составе какой-то делегации, рассказывал мне, что он был в Германии в 36 или 37 году на конференции. Заседание было прервано. Транслировалась речь Гитлера. Все должны были стоя и молча слушать. И все стояли, и среди всеобщего молчания раздался громовой голос Николая Владимировича: "Wann wird denn dieser Wahnsinn endlich aufhören?" /Когда, наконец, прекратится это безумие?/Он говорил на берлинском диалекте, aufhören звучало ufhören. Таких не сажают. С ними навозишься. Довольно молчаливников.

Когда в 1945 году Берлин пал, институт Николая Владимировича оказался в Советском секторе. Он мог драпануть на Запад, но за ним не было никакой вины перед Россией, русского гражданства он не был лишен, судьба его сына была неизвестна, и он ждал своих. Год его не трогали. В 1946 году к нему явился Н. И. Нуждин — одна из самых мерзких фигур в паноптикуме Лысенко /в прошлом сотрудник Вавилова, а теперь, в 1946 году — Лысенко/, взял линии дрозофил, попросил завернуть ящики с пробирками, где помещались живые мухи, не в газеты, а в оберточную бумагу, и уехал. После этого Николая Владимировича взяли. В лагере он погибал от пеллагры, почти ослеп, он рассказывал при мне В. П. Эфроимсону, что такое пеллагра: если вам per os вольют чайную

ложку с тремя чайниками, она тут же со всеми тремя чайниками выйдет из вас per rectum. Все это говорил он с чрезвычайной бодростью. Какими-то неведомыми судьбами после двух лет пребывания в лагере Ресовского отыскали — по приказу сановных тюремщиков. Тюремщики, не сановного его, уже полумертвого, привезли в Москву, где его как-то ужасно лечили. Кажется, слепота его была следствием не столько болезни, сколько лечения, и отправили в шарагу, где он мог заниматься наукой.

Его жена с младшим сыном приехала к нему в Сибирь из Берлина, где она работала в Университете у Нахтсгейма. Они пробыли в заключении 8 лет. Елена Александровна привезла в Сибирь линии дрозофил. Но вскоре, в 1948 году они были по строжайшему приказу свыше уничтожены.

В 1956 году Николай Владимирович был реабилитирован. Я присутствовала на его докладе в Москве. Он говорил о результатах своих исследований, выполненных им в шараге. Занимался он радиостимуляцией растений.

На свободе, в Большой зоне, его научная деятельность приобрела грандиозный размах. Он сперва обосновался в Свердловске. На Южном Урале, в сказочно красивом месте, у него была Биостанция "Миассово", оазис в пустыне запуганных. Населяли оазис почти одни бывшие зеки.

Биостанция стала местом паломничества ученых всех специальностей. Работали там с утра до поздней ночи. Научный семинар заседал каждый вечер. Потом Н. В. Тимофеев-Ресовский перебрался в Обнинск Калужской области и организовал в Институте медицинской радиологии лабораторию радиационной генетики — целый институт, великолепно функционирующий, чрезвычайно дифференцированный.

Этому детищу, взлелеянному на склоне лет, суждено было погибнуть. Разогнали по прямому указанию КГБ. Даже благовидного предлога не потребовалось. В 1971 году Николай Владимирович стал безработным. Мировое общественное мнение на этот раз не смолчало. Лауреат Нобелевской премии Дельбрюк приехал в Союз, чтобы говорить с Президентом АН СССР М. В. Келдышем о Тимофееве-Ресовском. Николай

Владимирович был зачислен консультантом в Институт космических исследований АН СССР. Распоряжение шло из высших сфер.

Друзья уговорили Николая Владимировича защищать докторскую диссертацию. Ботанический Институт Академии Наук СССР принял ее к защите и защита состоялась. Было это, кажется, в 1960 году, Ресовский еще жил в Свердловске. Однако Высшая Аттестационная Комиссия не собиралась присваивать ему степень. Хрущев был у власти, лысенковщина мужала снова, и так бы он не получил степени доктора, не случись в 1964 году малой октябрьской революции, как называли мы смещение Хрущева.

Снова, как в 1953 году, когда умер Сталин и ждали крутого поворота, лысенковцы задрожали. В газетах появлялись статьи за статьей в защиту генетики. Поворот был круче, куда круче, чем десять лет назад. Годы царствования Хрущева, когда державные бразды были ослаблены, дали возможность ученым других специальностей — физикам, химикам, математикам, кибернетикам — выступить в защиту генетики. И теперь, наконец, было спущено указание восстановить ее в правах.

И вот Высшая Аттестационная Комиссия, вся насквозь пронизанная метастазами лысенковщины, присвоила степень доктора биологических наук действительному члену двух европейских Академий Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому.

В 1966 году я работала в Институте цитологии и генетики АН СССР в Новосибирске и была членом его Ученого Совета. На заседании Совета мы выдвигали кандидатов для выборов в состав Академии. Когда называли кандидатов по генетике, я сказала, что следует выдвинуть Тимофеева-Ресовского. Ю. Я. Керкис сказал, что его следует выдвинуть, но не по генетике, а по биофизике. Дошло дело и до биофизики. Прелестная Нинель Борисовна Христолюбова сказала, что Ресовский будет ее кандидатура. Но тут попросила слова Галина Андреевна Стакан и заметила, что он, кажется, совершал непатриотические поступки. А Ольга Ивановна Майстренко

заявила, что он жил в фашистской Германии. А Юлий Оскарович Раушенбах сказал, что он вообще отказывается выдвигать такого человека в академики и замдиректора Привалов к нему присоединился.

Тогда взяла слово Зоя Софроньевна Никоро. Она сказала: да, Николай Владимирович жил в Германии и работал в институте Рокфеллеровского Фонда, и он не вернулся. "Но посмотрела бы я на любого из тех, кто сейчас здесь выступал, как бы он вернулся. Вернись он, и нам не о чем было бы здесь разговаривать. С вероятностью в сто процентов он был бы уничтожен. Это Бухарин мог решиться уехать в Париж, походить по свободной земле, подышать свободным воздухом и вернуться, зная, что он умрет не за Родину, а как враг ее народа. Николай Владимирович не вернулся, но он не предавал Родину, он был светочем ее науки, ей он служил. Предавали Родину те, кто предавал ее науку, кто писал доносы на ее лучших людей, подписывал ложные заключения по обвинению во вредительстве". "Худо, что на нашем Ученом Совете звучат такие речи", — тихо и грозно сказал член КПСС Шкварников.

Снова выступил Раушенбах — один из тех, кто давал ложные заключения по обвинению во вредительстве безвинных людей: "Как же это приверженцы мичуринского учения Родину предавали, когда оно ЦК было одобрено. А он предавал, в гитлеровской Германии жил, всякому ясно".

Тогда заговорил другой замдиректора Р. И. Салганик — человек очень интеллигентный, образованный и талантливый. Он Николая Владимировича принимал у себя дома и очень хорошо разбирался, что к чему. Но он еврей, а жертва еврея на алтарь верноподданничества должна быть не просто обильной, а взлелеянной у самого сердца. Салганик сказал: "Тимофеев-Ресовский мог и должен был вернуться за долго до 1937 года, тогда еще никакой опасности не было. А он поехал в профашистскую Германию и остался там. Видно, фашизм больше устраивал его, чем страна строящегося социализма".

Его прервала Нинель Борисовна Христолюбова. Она сказала, что снимает свою кандидатуру, так как не хочет подвергать Николая Владимировича такого рода нападкам.

Тогда встала я и сказала, что Николай Владимирович поехал в 1926 году не в профашистскую Германию, а в страну, находившуюся накануне коммунистической революции. Победа фашизма в Германии совершилась не без участия Советского Союза. Воспрепятствовав образованию единого фронта против нацизма, Сталин способствовал победе Гитлера. Вопрос о патриотизма Николая Владимировича просто нелепо ставить. И если Нинель Борисовна снимает кандидатуру, то я ее выдвигаю.

Директор Института Д. К. Беляев до той поры молчал. Он всегда выступал в роли закулисного дирижера театра мирионеток. Теперь он сказал, что, видя возникшие разногласия, он думает, что нам не следует выдвигать никого по Отделению биофизики. Это предложение прошло большинством голосов. А Зое Софроньевне устроили специальную проработку.

Еще в 1963 году, до снятия Хрущева, она на одном из заседаний, когда создавались бригады коммунистического труда, сказала, что мы не достойны высокого этого звания: в стране голод, хлеба не хватает, причина — невежественное планирование сельского хозяйства, а мы — специалисты по сельскому хозяйству — молчим...

Она говорила, и зал, по крайней мере, три его четверти, аплодировали. И тогда выскочил боком на трибуну Д. К. Беляев и говорил все, что ему было бы предложено говорить, имей он время проконсультироваться в Райкоме. Он очень красивый, сухой, шея у него не толстая, скорее тонкая, и она дергалась в нервном тике, от угла рта к ключице. После этого Зою Софроньевну "прорабатывали" снова. Ю. П. Мирюга — сотрудник Института, знавший Зою Софроньевну по Горьковскому университету, откуда ее выгнали в 1948 году, — сказал, что он всегда считал ее вредителем, человеком безнравственным. "Знают ли присутствующие, что она по вечерам в ресторане в оркестре на рояле играла?" А она действи-

тельно играла, и это был ее единственный заработок, после того как ее выгнали. У нее было трое своих детей и еще сколько-то приемных...

В 1970 году Николаю Владимировичу исполнилось семьдесят лет, и Московское общество испытателей природы праздновало его юбилей. Юбилей назначила Академия Наук. Были разосланы приглашения и напечатаны названия докладов. А потом юбилей отменили. Представляю, что содержали доносы, которые послужили причиной этой отмены.

БОРИС ЛЬВОВИЧ АСТАУРОВ

Генетики, как правило, не участвовали в демократическом движении. Их подписи не стояли под обращениями к Партии и Правительству с просьбой не так безжалостно карать, если дело не касалось генетики.

Борис Львович представлял собой исключение. Когда умер Сталин, его преемники, следуя завету Бориса Годунова, вложенному Пушкиным в уста царя, один за другим ослабляли державные бразды. Маленков выпустил на свободу уголовников, Хрущев открыл двери тюрем, миллионы осужденных по политическим статьям обрели свободу. Новое руководство во главе с Брежневым сняло запрет с генетики и слегка обуздало Лысенко.

Когда в 1963 году, еще в царствие Хрущева, поэт Бродский — тогда еще совсем молоденький мальчик — был осужден как тунядец на пять лет ссылки в Архангельскую область, — я обратилась к Дудинцеву — автору нашумевшей книги "Не хлебом единым" за помощью. Свободолюбец этот тогда был прокурором. Мне казалось, что приговор можно оспорить юридически, доказав несостоятельность обвинений и процессуальные ошибки. "Может быть, может быть, думалось мне, "они" поймут, что хватило через край. Возможен международный резонанс — Бродский переводил английских, испанских, польских поэтов и "они" согласятся свалить ошибки на судью и помилуют неповинного."

Свидание состоялось на квартире Бориса Львовича Астаурова. "Почему я должен вам верить?" — логично спросил прокурор. Я положила перед ним стенограмму суда над Бродским, записанную от руки, которую я вела в зале суда над Бродским. "Сверьте, — сказала я, — все, что совпадет, — правда!" "Но я стихи его видел, вы же мне и показывали их, когда я у вас в Ленинграде был, — он против народа писал, против партии писал". Я положила перед ним те самые стихи, которые показывала ему тогда: "Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать..." "Там он лежит на склоне, там я его зарыл. Каждой древесной кроне трепет вороньих крыл..." Это стихотворение кончается: "Разве он был вороной? Птицей, птицей он был". И остальное — в том же духе. Прекрасные стихи. Никакой политики. "Это не те стихи, — кричал прокурор, — почему я должен вам верить? Большие люди делают большие дела, а он у них между ног болтается, бороду отрастил, пьянствует, за бабами волочится".

А Бродский не пил и не курил даже и переживал свою трагическую любовь, о которой пишет и сейчас в своем великолепном цикле "Мария Стюарт".

Дудинцев все кричал и кричал, но я уже и слушать перестала. Я обратилась к Борису Львовичу и сказала: "Свобода отмерена свыше. Каждый хочет быть ее единственным глашатаяем, воспользоваться всем, а другому воспрепятствовать, а то тот превысит меру, тогда и ему запретят и всем запретят, и последнюю крупичку отнимут. Вот что происходит!" Борис Львович сказал, что он полностью со мной согласен. А дочь его, которая при этом присутствовала, плакала. Ей тогда было лет 17. Ничего у меня не вышло, и Бродскому я помочь не смогла.

Позволяя себе роскошь быть честным человеком, Борис Львович был избран академиком в тот самый год, когда не удалось выдвинуть даже кандидатуру Тимофеева-Ресовского. Он организовал новый институт в Академии Наук и стал его директором. Он был председателем Всесоюзного Общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова. В своем

Институте он отказывался увольнять сотрудников за участие в демократическом движении.

В 1958 году он был приглашен на десятый Международный Генетический Конгресс в Монреаль. Многие имели приглашение, но из генетиков разрешили ехать только Астаурову. Лысенковцев было с полторы дюжины. Он написал в ЦК. что не может ехать на Конгресс в составе делегации, все члены которой являются приверженцами антинаучной доктрины. Его репутация ученого была бы запятнана. "Не желая прибегать в этом документе к резким выражениям, — писал он, — я не могу обозначить их взгляды иначе, как приближающиеся к абсурду". Чтобы предотвратить роковой конфликт, который мог возникнуть, он привел еще и другую причину своего отказа — его отец был в это время очень болен. Другому такая смелость так не прошла бы. Его пускали и после этого за границу, и он снискал любовь и уважение за пределами страны.

В 1974 году один из сотрудников его института уехал на конференцию в Венецию и не вернулся. Власть имущие не хотели его отпускать. Борис Львович ходил в райком партии и просил за него. И этим воспользовались.

На очередном заседании Президиума Академии Астаурову дали понять, что не считают побег его сотрудника случайностью. Борис Львович переживал это страшно, он слег и вскоре после заседания президиума скончался.

В 1939 году в Эдинбурге состоялся седьмой Международный генетический конгресс. Н. И. Вавилов был приглашен возглавить его. Ни один генетик, включая Вавилова, не получил разрешения поехать в Шотландию. В знак протеста против этого полицейского акта на место председателя не был избран никто. Председательское кресло стояло пустым.

В 1973 году в Калифорнии на тринадцатом Международном Генетическом Конгрессе было вынесено решение созвать следующий Конгресс в Москве. Решение это — воздаяние почести русской науке, которая устояла под натиском мракобесия, и ученым — жертвам террора — Вавилову, в первую очередь.

Конгресс мог выполнить эту миссию только при одном непременном условии — его председателем должен был быть Астауров. Это и предполагалось. Смерть Астаурова не просто нарушила красоту замысла. Она придала благородному решению дьявольскую двусмысленность. Со смертью Астаурова его страна превратилась в страну его убийц.

... Я пришла на его похороны в Дом Ученых, на Кропоткинской улице, когда церемония началась. Стоял первый почетный караул: Овчинников, Беляев, Турбин и неизвестный мне человек. Я разыскала тех, кто ждал своей очереди занять место в почетном карауле, и стала в хвост. Очередь входила в Актовый зал, делала в нем петлю и выходила из него. Я сначала ничего не видела и не различала, кто стоит рядом, а потом разобрала — рядом стоял Андрей Дмитриевич Сахаров.

В тот самый день Москва проводила в изгнание, — слава Богу не в Сибирь, а в Норвегию, — Александра Аркадьевича Галича, и после его проводов Андрей Дмитриевич пришел на похороны Астаурова.

Ко мне подошел Фатих Хафизович Бахтеев — в прошлом сотрудник Вавилова и теперь его биограф. Бахтеев был с Вавиловым в той последней его экспедиции, когда Вавилов был схвачен и увезен в тюрьму. И еще один человек подошел — из числа тех, которые рождаются, чтобы стать великомучениками. Я познакомила Бахтеева и этого человека с Андреем Дмитриевичем, и образовалась четверка, чтобы стать в почетный караул. Мы подошли к двери, ведущей в Актовый зал, и стояли лицом к лицу с той четверкой, которой надевали на руки траурные повязки. Ближе всех стоял Иосиф Абрамович Рапопорт — один из самых бесстрашных. Я представила Иосифа Абрамовича Андрею Дмитриевичу, они обменялись рукопожатиями, и четверка прошла. Жирный курчавый молодой человек, ведший четверку, слышал имена тех, кого я представила друг другу. И вдруг очередь стала таять, и никого не осталось вокруг нас, и объявили, что траурный митинг начался и почетный караул снят. Сахаров у гроба Астаурова — это никак не входило в планы закулисных дирижеров похорон!

Хоронили Бориса Львовича на Новодевичьем кладбище — очень почетное место, где хоронят только с разрешения ЦК.

Ближе к раскрытой могиле чинопочитание соблюдалось не так строго.

Восемь человек, все одинакового роста, несли гроб от ворот монастыря сперва до места, где снова был траурный митинг, а потом до могилы.

Помню среди этих восьми Эфроимсона — бледного, очень несчастного. Выступал Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. Под открытым небом перед многосотенной толпой его громовой голос был едва слышен. Он говорил: "За нас он погиб, в нашу защиту он подставлял под удар свою ничем не защищенную грудь, свое ранимое нежное человеческое сердце".

Я думаю, если бы Бориса Львовича спросили, где он хотел бы почивать, он без колебаний сказал бы — во дворе Саратовской тюрьмы. Сановная могила на кладбище Новодевичьего монастыря ставила под подозрение его незапятнанную честь. Полагающийся ему по чину кладбищенский оркестр провожал Бориса Львовича от монастырских ворот до могилы. Играли что-то очень парадно-официальное, чудовищно фальшивя. Или мне так казалось...

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах,

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче"

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается
в магазинах русской книги и киосках страны.*

Наталья ГРОСС

СКУЛЬПТУРНЫЕ ЭСКИЗЫ ЖАКА ЛИПШИЦА

Один из самых знаменитых скульпторов нашего времени, Жак Липшиц, как и многие прославленные мастера современного искусства, был рожден в русской провинции, получил художественное образование в Париже, а в годы войны нашел прибежище в Нью-Йорке.

Три центральных художественных направления, три школы, отложили отпечаток на скульптурные принципы Жака Липшица. Корни его раннего творчества — несомненно, в русской академической традиции. В последующий период, знакомясь с французским кубизмом, он привносит кубистические приемы в скульптуру, наконец, уже зрелым скульптором он создает свой персональный стиль под влиянием американского экспрессионизма как фигуративного, так и абстрактного.

Сменялись период за периодом, интерес Жака Липшица к скульптурному наброску оставался неизменным. Основой его индивидуальной концепции, вошедшей сегодня в историю скульптуры 20-го века, стал скульптурный набросок, выполненный в бронзе.

В истории пластического искусства скульптурный набросок выполнял обычно функцию черновика. Предваряя стадию отливки из металла, скульптор создавал несколько пробных вариантов в гипсе. Затем, по этим наброскам строилась модель натуральной величины, которая отдавалась в литье ремесленникам.

Современные скульпторы вообще отказались от скульптурных набросков. По рисункам они изготавливают модель, которая впоследствии отдается в литье.

Жак Липшиц положил в основу своих скульптурных принципов идею того, что скульптурный набросок, сам по себе, является законченным произведением. У истоков концепции Липшица стоят принципы русской и французской академических школ, где художественное мастерство и совершенство достигается кропотливым трудом, созданием многочисленных серий набросков. Липшиц пришел к тому, что скульптурный набросок — сам по себе шедевр, и поэтому только незначительная часть его набросков-миниатюр была отлита в больших размерах.

Скульптурные эскизы Липшица разнообразны по тематике и стилю: портретные группы, декоративные рельефы, библейские сюжеты,

выполненные то в риторическом стиле кубизма, то в эмоциональной, отрывистой, экспрессионистской манере.

Интересно, что Липшиц не только создатель, великолепный скульптор, но и блестящий технический исполнитель, добившийся синтеза лепки и литья, ремесленничества и мастерства, творчества и исполнения.

В заключение мне хотелось бы привести несколько поэтических строк американского поэта Карла Сэндберга, посвященных Жаку Липшицу.

"... Мир форм
К нам пришел
За 60 последних лет
Из рук Жака Липшица.

Разнообразные существа,
Сначала простые и простенькие,
Вскоре зашевелились
Пустились сражаться в любви и войне

Неужели это правда —
Мы движемся к новому миру
Человечество осилило чудовище
И на сердце приходит радость?

Мир форм,
Созданный Жаком Липшицем, —
Взлеты и падения
Он призван поведать нам."



Гончар



Устрашенный



Портрет Джериго



Танцовщица с вуалью



Голова женщины



Созерцание



Прометей



ВРЕМЯ И МЫ-1980год

Ко всем подписчикам и читателям журнала

Начиная с января 1980 года журнал "Время и мы" начинает издаваться как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами: в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже. В связи с этим, естественно, расширится тематический круг журнала так же, как круг его авторов. На страницах журнала в 1980 году мы планируем публикацию лучших прозаических произведений самиздата. Предполагаются выступления Белля, Гольдштюккера, Виктора Некрасова, писем Милюкова и Леонида Андреева, материалов процесса Кравченко /автора книги "Я выбрал свободу"/. Мы предполагаем напечатать эссе Льва Наврозова, рассказы и повести Александра Тучкова, американские рассказы Аркадия Львова, статьи и эссе Ефима Эткинда, Льва Копелева, Доры Штурман. Таким образом, журнал и дальше будет продолжать свою линию независимого гуманистического издания широкого профиля, на страницах которого найдут выражение любые взгляды и точки зрения, независимо от национальной, политической или религиозной принадлежности автора.

В связи с тем, что журнал "Время и мы" является беспартийным, независимым и никем не субсидируемым изданием, мы надеемся на более эффективную экономическую поддержку наших читателей. Поэтому наряду с обычными условиями подписки для тех, кто хочет помочь журналу и располагает соответствующими возможностями, предлагаются несколько более высокие подписные цены.

Установлены следующие подписные цены на 1980 год:

В ИЗРАИЛЕ: на год — 1600 лир, на шесть месяцев — 950 лир, с целью экономической поддержки журнала — 1800 лир и 1100 лир. (Оплатить подписку можно в три чека, первый — на день подписки, третий — не позднее марта 1980 года).

В США и КАНАДЕ: на год - 48\$, на шесть месяцев — 24\$. С целью экономической поддержки журнала — 60 и 30 (авиапочта — 96).

Во ФРАНЦИИ: на год — 220F.FR. на шесть месяцев — 110 F.FR. С целью экономической поддержки журнала 270 и 130 (авиапочта — 370)

В ГЕРМАНИИ: на год — 92 DM, на шесть месяцев — 46 DM. С целью экономической поддержки журнала — 115 и 56 (авиапочта — 185).

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1980 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1980 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу :
POB. 24123, Tel-Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1980 ГОД

Авиапочтой сроком на 6 месяцев
Обыкновенной почтой на 12 месяцев

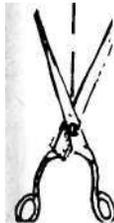
Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel**



КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Аркадий ЛЬВОВ. Писатель. Учился в Одесском университете. В 1946 году был исключен с мотивировкой: за клевету на советский народ и еврейский буржуазный национализм. Лишен был права продолжать учебу в высших учебных заведениях, в дальнейшем, однако, добился возможности закончить университет.

По окончании университета работал в средней школе преподавателем истории и русской литературы.

Опубликовал в СССР шесть книг, кроме того, в журналах, альманахах и газетах — более 200 рассказов, очерков, статей. Ряд рассказов переведен на английский, чешский, болгарский, польский языки.

В настоящее время Аркадий Львов живет в Нью-Йорке. Уже на Западе им был написан ряд произведений и переведен на французский, английский и другие языки.

А. Львов — постоянный автор журнала "Время и мы". В нашем журнале опубликованы его рассказы "Досрочный экзамен" /38/, "Тепло человеческого тела" /39/, "Площадь Колумба" /41/, "Отель "Амбассадор" /44/, "Бизнесмен" /47/ и др.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Писатель. Живет в России. Родился в 1932 году в Киеве. Окончил сценарные курсы. В 1962 году опубликовал в журнале "Юность" рассказ "Дом с башенкой". В 1972 году по сценарию Фридриха Горенштейна Андрей Тарковский поставил фильм "Солярис". По сценариям Фридриха Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако, ни одного прозаического произведения после 1962 года Ф. Горенштейн опубликовать не смог. Между тем, в семидесятых годах им написаны повести "Зима 53-го" /1965/, "Ступени" /1966/, "Искупление" /1967/, рассказ "Старушки" /1964/, пьеса "Споры о Достоевском" /1973/ и ряд других произведений. С конца семидесятых годов Горенштейн начинает систематически публиковаться на Западе. В семнадцатом номере "Континента" публикуется повесть Горенштейна "Зима 53-го". В 42-м номере нашего журнала опубликован отрывок из его повести "Искупление".

Более подробно биография Фридриха Горенштейна приводится в статье Ефима Эткинда "Рождение мастера" /"Время и мы" — журн. 42/.

Семен ЛИПКИН. Родился в 1911 году в Одессе. Поэт, поэт-переводчик, в Союзе писателей с 1934 года, друг А. Ахматовой. Перевел: калмыцкий эпос "Джангар", киргизский эпос "Манас", кабардинский эпос "Нарты", поэмы А. Навои, Фирдоуси, а также стихи тюркоязычных поэтов и поэтов, пишущих на фарси.

Анри ВОЛОХОНСКИЙ. Поэт. Родился в 1936 году в Ленинграде. По профессии лимнолог. В России почти не публиковался. Репатрировался в Израиль в 1973 году. В настоящее время живет в Твери, работает в лаборатории по исследованию озера Кинерет. Печатается в израильской и западной периодической прессе.

Лев НАВРОЗОВ - см. журнал №49.

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ. Родился в 1905 году в Елизаветграде. Учился в Одесском институте народного хозяйства. После революции вступил в молодежное сионистское движение. В Израиль приехал в начале 1928 года. Участвовал в левосоциалистическом рабочем движении. После войны был секретарем Общества Дружбы "Израиль — СССР", из которого вышел в 1956 году в знак протеста против угроз советского правительства в адрес Израиля. Последние двадцать лет выступает на страницах израильской рабочей печати.

Раиса БЕРГ. Биографические данные Р. Берг приводятся в ее воспоминаниях "Повесть о генетике".

ОХОТНИК ВВЕРХ НОГАМИ

История моего друга Рудольфа Абеля

Среди ветвей и оленьих рогов на детской загадочной картинке вверх ногами притаился охотник. Различив его однажды, вы не сможете не видеть его всегда.

Долгие годы общения с Рудольфом Абедем, учителем "шпионских наук" и другом, научили Кирилла Хенкина быстро обнаруживать охотника.

Эта книга — история подлинного, никому еще не известного "Абеля" /Вильяма Фишера/. История его семьи, детства, жизни и безрадостного конца в раковой клинике. Это попытка ответить на вопрос, почему опытный "Абель" дал арестовать себя американской разведке, разгадать истинную роль Александра Орлова, бежавшего в 1938 году в США.

И это — история самого автора, "дважды эмигранта Советского Союза", выпускника Сорбонны, участника Гражданской войны в Испании, после возвращения в Союз прошедшего сложный путь — от солдата спецчастей НКВД, после войны — переводчика и радиожурналиста — до отказника, активиста борьбы за выезд, путь, приведший его в 1973 году в Израиль.

Сейчас К. Хенкин — политический комментатор радио "Свобода".

В конце книги страсть к "загадочным картинкам" заставляет автора обратить взор на третью эмиграцию и задать вопрос: "Зачем и почему нас выпустили?" Вторая книга Кирилла Хенкина "Русские пришли" будет целиком посвящена этой теме.

По-русски "Охотник вверх ногами" в ближайшее время выходит в издательстве "Посев".

Григорий Свирский НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

(ЛИТЕРАТУРА НРАВСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 1946-1978 гг.)

Эта книга, с исключительно яркой, полемически острой манерой письма, есть в первую очередь и следовании послевоенной литературы. Причем, несомненно, исследование событийного значения. Г. Свирский вдумчиво, проникновенно «читает» официально изданные произведения В. Некрасова, В. Пановой, Д. Гранина, В. Гроссмана, В. Дудинцева, В. Тендрякова и др. ...И оказывается, что каждый из них открыл какую-нибудь из проблем эпохи, показал ту или иную сторону советского действительного бытия. Попутно автор снимает с пласта настоящей литературы шелуху обвинений в постоянных уступках и компромиссах с властями, в иллюстративности партийно-правительственных решений.

Захватывающе интересны страницы, посвященные творчеству и личностям Ахматовой, Паустовского, Оренбурга, Солженицына, авторам самиздата, бардам «магнитофонной революции», историческому значению журнала Твардовского «Новый мир».

«На лобном месте» — одновременно и мемуарные записки современника. Обладая незаурядными памятью и талантом, Г. Свирский воспроизводит атмосферу литературной жизни России сталинского, хрущевского и брежневского периодов. «Он передает разговоры вокруг каждого литературного события, — пишет в предисловии к книге проф. Е. Эткинд, — а порой и необходимые для «живого контекста» анекдоты, эпиграммы, даже слухи». Отмечая далее, что в истории литературы часто пропадают атмосферные явления, окружающие писателей и их книги, проф. Эткинд заключает: «Благодаря Смирновой, Панаевой, Никитенке, Гречу мы знаем кое-что о литературной жизни прошлого века. Благодаря Свирскому останется в памяти атмосфера послевоенного тридцатилетия».

С познавательной точки зрения, книга представляет несомненный интерес как для массового читателя, так и для славистов, изучающих современную русскую литературу.

Англия 1979. 620 стр. Мягк пер. ДМ 40 — Те. пер ДМ 48 —

Пересылка за счет заказчика

Требуйте бесплатно наш большой каталог 1979/80



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 • Bauerstr. 28 • Germany

Тел. 37-05-34

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА АРДИС

- АХМАТОВА, А. Поэма без героя. (1978). 3.50
 Подорожник (1976). 2.50
 Анно Домини (1976). 3.50
 БЕЛОЗЕРСКАЯ, Л.Е. Воспоминания о М.А.Булгакове. (1979). 3.95
 БИТОВ, А. Пушкинский дом. (1978). 412 стр. 8.00
 БРОДСКИЙ, И. Часть речи. (1977) Конец прекрасной эпохи. 3.95 кажд.
 БУЛГАКОВ, М. Дьяволиада. (1976). 3.55
 Неизданный Булгаков. (1977). 5.00
 ВАГИНОВ, К. Стихи. (1978). 2.50
 ВОЙНОВИЧ, В. Иванькиада. (1976). 3.95
 ГАЗДАНОВ, Г. Вечер у Клэр. (1979). 4.50
 ГИППИУС, З. Письма к Ходасевичу и Берберовой. (1978). 3.00
 ГЛАГОЛ, Альманах, выпуски 1 и 2 (1977, 1978) 3.95 кажд.
 ГУМИЛЕВ, Н. Огненный столп. (1976). 3.00
 ДОВЛАТОВ, С. Невидимая книга. (1978). 3.50
 ЗАМЯТИН, Е. Нечестивые рассказы. (1978). 3.95
 Наводнение. (1976). 2.50
 ИСКАНДЕР, Ф. Сандро из Чегема. (1978). 610 стр. 8.95
 КОПЕЛЕВ, Л. И сотворил себе кумира. (1978).335 стр. 7.95
 Хранить вечно. (1978). 702 стр. 8.95
 Вера в слово. (1977). 64 стр. 3.00
 КУЗМИН, М. Форель разбивает лед. (1978). 3.95
 МАНДЕЛЬШТАМ, О. Египетская марка. (1976). 3.95
 НАБОКОВ, В. Камера обскура. (1976). 6.00
 Весна в Фиальте. (1978). 6.00
 Отчаяние. (1978). 6.00
 Соглядатай. (1978). 6.00
 Король, дама, валет. (1979). 6.00
 Другие берега. (1978). 6.00
 Лолита. (1976). 5.00
 Возвращение Чорба. (1976). 5.00
 Стихи. (1979). 3.95
 Подвиг. (1978). 5.00
 Машенька. (1978). 4.00
 Приглашение на казнь. (1979). 6.00
 Защита Лужина. (1979). 6.00
 ОЛЕША, Ю. Зависть. Илл. Альтмана. (1976). 3.95
 ПАРНОК, С. Собрание стихотворений. (1979). 388 стр. 5.00
 ПАСТЕРНАК, Б. Сестра моя жизнь. (1976). 3.95
 ПЛАТОНОВ, А. Шарманка. Пьеса. (1975). 3.25
 ПУШКИН, А. Путешествие в Арзрум. Репринт с изд. Лифаря. 4.00
 СОКОЛОВ, Саша. Школа для дураков. (1976). 3.00
 УФЛЯНД, В. Стихи 1955-77. (1978). 3.00
 ХЛЕБНИКОВ, В. Зангези. Факсимиле. 3.25
 ЧААДАЕВ, П. Философические письма. (1978). 3.50
 ЧУКОВСКИЙ, К. Поэт и палач. 2.50
 ЦВЕТКОВ, А. Сборник пьес для жизни соло. (1978) 3.95
 ЦЕХ ПОЭТОВ, Акмеисты. (1978). 3.00

ОТМЕТЬТЕ НУЖНЫЕ ВАМ КНИГИ. ВПИШИТЕ СВОЮ

ФАМИЛИЮ _____

АДРЕС _____

ВЫРЕЖЬТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, добавьте к сумме чека 50 центов на пересылку и шлите заказ по адресу:

ARDIS, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104, USA

КНИГИ МИХАИЛА ДЕМИНА

В Париже, в издательстве Роберт Лаффон, вышла в свет на французском языке книга Михаила Демина "Рыжий дьявол". Это третья по счету вещь из большого цикла автобиографических романов Демина, которые публикуются в том же издательстве на протяжении последних пяти лет.

Биография М. Демина весьма необычна. Прежде, чем стать профессиональным писателем (в Москве у него было издано четыре сборника стихов и ряд повестей и рассказов), Демина успел исколесить всю Сибирь и Север, пройти сквозь все слои советского общества — с самого верха до самого дна.

Сын крупного советского военачальника, старого большевика, он в годы сталинского террора теряет семью и дом, становится беспризорником и попадает в компанию уголовников... Об этом российском преступном мире рассказывается в первой книге цикла "Блатной". Вторая книга, "Таежный бродяга" посвящена тому периоду, когда Демина — освободившись из арктического лагеря — начинает свои сибирские скитания.

Приговоренный к трехлетней ссылке, он из ссылки бежит и вновь уходит в подполье, оказывается "вне закона"... Порвав с блатным миром, М. Демина долго не может наладить контакт с миром внешним, официальным. В сущности, главная тема этой сложной вещи — трагедия одиночества.

В книге "Рыжий дьявол" речь идет о черном рынке, о сибирском золоте, о тайных контрабандных путях и о жестоком мире лесных бандитов. На этом фоне разворачивается жизнь героя книги, который теперь предстает нам в качестве начинающего Поэта и журналиста. Книга состоит из трех частей. Первая часть, озаглавленная "Горькое золото", недавно была опубликована в 46 и 47 номерах журнала "Время и Мы".

Михаил Демина — единственный русский писатель на Западе, который публикует свои книги только на иностранных языках. /Помимо Франции, они изданы также в Германии, Италии, Испании, Португалии, Японии, Америке, Израиле./

В предыдущих номерах нашего журнала /27 и 28, а так же 35 и 36/ были напечатаны краткие фрагменты из "Блатного" и "Таежного бродяги".

Сейчас Демина подготовил к печати новую повесть "Тайны сибирских алмазов". Он продолжает также работать над новой своей книгой из биографической серии, в которой речь пойдет о жизни писателя на Западе, в-основном — в Париже.

ГНОЗИС №V-VI GNOSIS

религиозно-философский и литературный журнал

В номере опубликованы:

Виктория Андреева: Время "Чисел".

Василия Яновский: Необыкновенное десятилетие/интервью/.

Поля Елисейские. /глава о Ю. Фельзене/.

Гайто Газданов: Авантюрист.

Александр Бахрах: Шаршун, которого я знал.

Евгений Вертлиб: Карамзин и Достоевский.

Евгений Вагин: "Страх России".

Леонид Чертков: Д. А. Облеухов.

Генрих Худяков: Лаэртид.

Юрий Мамлеев: Приход.

Игорь Бурихин: Стихотворения.

Е. Даниел Ричи: В некоем полисе.... На востоке Эдема.

Перевод Аркадия Ровнера.

Леонид Аранзон: Стихотворения. Translation by R. McKane

Илья Бокштейн: Стихотворения. Translation by R. McKane

Анри Волохонский: Двое.

Елена Шварц: Отземный дождь.

Рецензии.

Литературная анкета: Лидия Алексеева, Василий Яновский,
Иван Буркин, Юрий Мамлеев, Николай
Боков, Игорь Бурихин, Илья Бокштейн,
Генрих Худяков, Леонид Иоффе, Анри
Волохонский.

Хроника: Вечер пяти стихотворений.

Приложение: Письма Б. Ю. Поплавского Ю. П. Ивсаку.

Письма читателей.

Цена: двойной номер — 6 долларов
подписка на год — 12 долларов

АДРЕС РЕДАКЦИИ: GNOSIS, BOX 86, 527 Riverside Drive,
New York, N. Y. 10027

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ИЗРАИЛЕ: Валерий Дунаевский
Valery Dunaevsky
Rehov Ezel, 8/14, Givat Tsarfatit,
Jerusalem, Israel

КОГДА БАНК «ЛЕУМИ»

ПРЕДЛАГАЕТ
ВАМ БОНУС
ДО

22,500 ЛИР

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ,
ЧТО ПОЛУЧИТЕ ЕГО

БОНУС В 25% ПО ПРОГРАММЕ «KOAX AD 120» НА ЛЮБУЮ СУММУ ОТ 500 ДО 90.000 ЛИР.
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ В БАНКЕ «ЛЕУМИ», БАНКЕ «ИГУД», БАНКЕ «АЛИЯ-ЛЕУМИ»
И БАНКЕ «АРАВИ-ИСРАЭЛИ».

БАНК «ЛЕУМИ» —

— банк, шагающий в ногу со временем.



bank leumi בנק לאומי

E.TAL ADV

До 17.9.
БОНУС
25%
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БАНКА ЛЕУМИ

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.

Тел. (03)31-58-40.

26 Shenkin st., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П.Я. 24123, Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Ефим Шапиро

Технический редактор И. Левин

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июнь 2010 г.

Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки: Жак Липшиц "Женщина со змеей"

Иллюстрации, опубликованные в разделе "Вернисаж "Время и мы" и на четвертой странице обложки, взяты из каталога " Скульптурные наброски Жака Липшица" /Израильский музей, Иерусалим/

